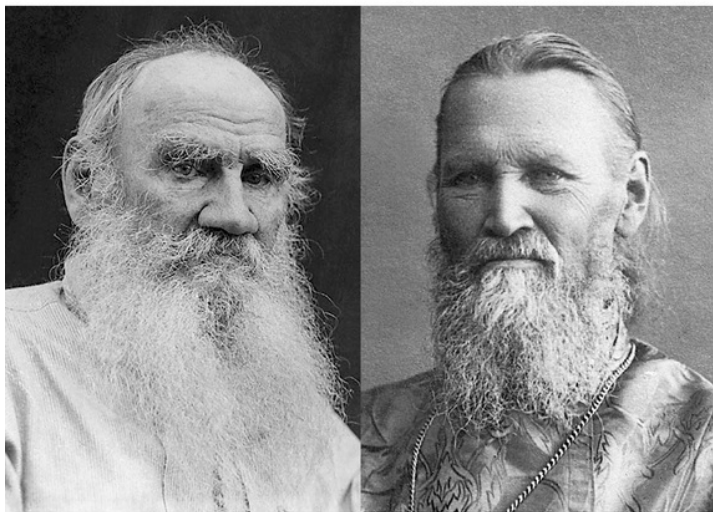


ПАВЕЛ БАСИНСКИЙ
СВЯТОЙ
ПРОТИВ
ЛЬВА



Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой:
история одной вражды

Павел Валерьевич Басинский Святой против Льва. Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой: история одной вражды

Издательский текст

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=5742558

*Святой против Льва. Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой: история
одной вражды: АСТ; М.; 2013
ISBN 978-5-17-077185-1, 978-5-17-077803-4*

Аннотация

На рубеже XIX–XX веков в России было два места массового паломничества – Ясная Поляна и Кронштадт. Почему же толпы людей шли именно к Льву Толстому и отцу Иоанну Кронштадтскому? Известный писатель и журналист Павел Басинский, автор бестселлера «Лев Толстой: бегство из рая» (премия «Большая книга»), в книге «Святой против Льва» прослеживает историю взаимоотношений самого знаменитого писателя и самого любимого в народе священника того времени, ставших заклятыми врагами.

Содержание

Вместо предисловия	5
Глава первая	14
МАДОННА В КРЕСЛЕ	14
ТАЙНА МАТЕРИ	28
Глава вторая	47
НЕЗАМЕТНЫЙ ВАНЯ	47
ИВАН ПЕРВЫЙ	56
ВОЛЯ И ПРОВИДЕНИЕ	68
ТАЙНА ЕГО МАТЕРИ	71
СКВОЗЬ ИГОЛЬНОЕ УШКО	79
Глава третья	84
Конец ознакомительного фрагмента.	85

Павел Валерьевич Басинский Святой против Льва. Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой: история одной вражды

Выражаю сердечную благодарность всем, кто советом, делами или добрым участием помогал появлению этой книги:

Ольге Басинской, Евгению Водолазкину,
О.В.Гладун, Н.А.Калининой, В.Я.Курбатову,
В.С.Логиновой, М.Г.Логиновой, Л.В.Миляковой,
Геннадию Опарину, Надежде Переверзевой, Алексею
Портнову, Владимиру Толстому, Татьяне Шабасовой,
Елене Шубиной, Ядвиге Юферовой.

*Нельзя хромать на оба колена. Нельзя
одновременно любить Льва Толстого и Иоанна
Кронштадтского.*

Н.С. Лесков в разговоре с Л.И. Веселитской

Вместо предисловия ГОСУДАРЬ СМЕЕТСЯ

В воспоминаниях Ивана Захарьина – статского советника, бывшего управляющего отделениями Крестьянского банка в Вильно, Ковно, Оренбурге и Ставрополе, а также прозаика и драматурга, писавшего под псевдонимом Якунин, – рассказывается о беседе императора Александра III с графиней Александрой Андреевной Толстой – двоюродной тетушкой Льва Толстого, знаменитой Alexandrine, – девицей, камер-фрейлиной, воспитательницей великой княжны Марии Александровны.

Alexandrine славилась при дворе не только безупречной набожностью и склонностью к филантропии, но и незаурядным умом, литературным вкусом и независимым характером – отличительной чертой всей толстовской породы.

В покои фрейлины для царя имелся отдельный проход через стеклянную, висевшую в воздухе галерею, соединявшую Зимний дворец с Эрмитажем, и государь зашел посоветоваться о возможности публикации «Крейцеровой сонаты» Толстого, запрещенной духовной цензурой.

«Я позволила себе высказать свое мнение в утвердительном смысле и представила государю, что вся Россия уже читала и читает ее, следовательно, разрешение только может

понизить диапазон публики, которая великая охотница до запрещенного плода».

Женщины в России часто оказывались мудрее мужчин. «Крейцера соната» была разрешена к печати – но только в составе очередного тома собрания сочинений Толстого.

И тогда же они разговорились о необыкновенной популярности Льва Толстого в России. Шел 1891 год.

– Скажите, кого вы находите самыми замечательными и популярными людьми в России? – спросил Александру Андреевну государь. – Зная вашу искренность, я уверен, что вы скажете мне правду... Меня, конечно, и не думайте называть.

– И не назову.

– Кого же именно вы назовете?

– Во-первых – Льва Толстого...

– Это я ожидал. А далее?

– Я назову еще одного человека.

– Но кого же?

– Отца Иоанна Кронштадтского.

Государь рассмеялся и ответил:

– Мне это не вспомнилось. Но я с вами согласен.

Захарьин не присутствовал при этом разговоре. Незадолго до смерти графини он был допущен к разбору ее архива, откуда (а также из личных разговоров с ней) он и взял этот эпизод. Как литератор, он не удержался и несколько раскрасил картинку. В воспоминаниях самой Толстой разговор по-

дан более сухо. Но и графиня отмечает, что императора рас- смешил ответ о Кронштадтском.

Толстая даже пишет: «Государь *очень* смеялся...»

Смеялся, но все-таки согласился! «Несмотря на совершенное различие двух этих типов, у которых одно было только общее: и к тому, и к другому люди всех сословий прибегали за советом».

«Немало иностранцев, – вспоминала графиня А.А.Толстая, – приезжали сюда с этой целью, и часто случалось, что они являлись ко мне, воображая себе, по моей фамилии, что найдут во мне покровительницу их доступу к Льву Толстому. Обыкновенно я говорила им, что помощь моя совершенно лишняя, так как Лев Николаевич принимает у себя всех без исключения».

Возможно, всех без исключения принимал бы у себя и Иван Ильич Сергиев, знаменитый протоиерей, настоятель кафедрального Андреевского собора в Кронштадте. Но это было невозможно. Если Льва Толстого в Ясной Поляне ежедневно посещали десятки людей, то отца Иоанна постоянно осаждали тысячные толпы. И неважно, где он находился: в Кронштадте, Самаре, Вологде, Ярославле или других российских городах во время своих многочисленных поездок. Если бы ко Льву Толстому шло столько же людей, сколько их ежедневно притекало (приплывало) в Кронштадт, от его прекрасной Ясной Поляны не осталось бы ни деревца, ни кустика, ни цветочка, ни травиночки – всё было бы вытопта-

но. Так что по совести, отвечая на вопрос государя, Толстая должна была первым назвать отца Иоанна, а своего племянника – вторым.

Однако трудно себе представить реакцию императора на подобный ответ. Все-таки *своего* Толстого он знал и любил. Еще подростком-цесаревичем он рыдал над его «Севастопольскими рассказами». Он в буквальном смысле плакал уже зрелым мужем во время чтения вслух пьесы «Власть тьмы» (впрочем, из государственных соображений тоже сперва допущенной к представлению только на домашних театрах). Царь не любил, когда его подчиненные доносили ему о крамольных сочинениях графа, что стали появляться за границей и нелегально в России уже с середины восьмидесятих годов. «Нет, – говорил государь, – *мой* Толстой этого не напишет». Не может быть ни малейшего сомнения в том, что при жизни Александра III никакого отлучения Толстого от Церкви состояться не могло.

В воспоминаниях графини приводится другой любопытный эпизод, ярко характеризующий отношение императора к Толстому. В 1892 году в лондонской “Daily Telegraph” в искаженном переводе вышла статья Толстого «О голоде», которую в России не смог напечатать даже специальный журнал «Вопросы философии и психологии». Правая газета «Московские ведомости» опубликовала фрагменты статьи в обратном переводе – с английского на русский, хотя оригинальный русский текст находился в России. Из этих фрагментов

и комментарий к ним следовало, что Толстой не столько переживает за голодающих крестьян, сколько призывает к свержению законной власти. Скандал разразился чудовищный. Даже библиотекарь Румянцевского музея русский философ Н.Ф.Федоров при встрече с Толстым отказался подать ему руку. Что говорить о консервативной части общества! В кабинет министра внутренних дел посыпались доносы. По законам того времени при тщательном расследовании Л.Н.Толстому грозила как минимум ссылка в самые отдаленные края Российской империи. И тогда тетушка, как это уже не раз случалось, бросилась выручать племянника.

«Заехавши раз к графу Дмитрию Андреевичу Толстому, тогдашнему министру внутренних дел¹, застала его в большом раздумьи», – вспоминала она...

– Право, не знаю, на что решиться, – сказал он графине. – Прочтите вот эти доносы на Льва Николаевича Толстого. Первые, присланные мне, я положил под сукно, но не могу же я скрывать от государя всю эту историю?

Реакция императора превзошла ожидания и министра, и фрейлины. «Прошу Льва Толстого не трогать; я нисколько не намерен сделать из него мученика и обратить на себя негодование всей России, – сказал он. – Если он виноват, тем хуже для него».

¹ Толстая, скорее всего, ошибается. Министром внутренних дел в это время был И.Н.Дурново. Д.А.Толстой покинул этот пост в 1889 году. Либо она вспоминала о своем посещении Д.А.Толстого в связи с другим скандальным случаем, тоже связанным с племянником.

«Дмитрий Андреевич вернулся из Гатчины вполне счастливым, – вспоминала графиня, – так как в случае каких-нибудь строгостей и на него, конечно, пало бы много нареканий».

Нареканий – со стороны кого? Всей России? Или самого государя? Очевидно одно: доклад министра был императору неприятен. А вот решение, которое государь принял, было отрадным. Это был благородный поступок не столько царя, сколько просвещенного аристократа. И Европа это оценила.

«С какой радостью, – вспоминала графиня Толстая, – я стала писать во все концы Европы и за океан, что граф Лев Толстой преспокойно живет у себя в Ясной Поляне и что великодушный наш царь не обидел его даже упреком».

Однако когда этот великодушный царь умирал в Ливадии в октябре 1894 года, к нему позвали не Толстого, а отца Иоанна Кронштадтского. Не писателя и философа, а исповедника и чудотворца. И не Толстой, а Кронштадтский держал над головой страдающего свои руки, утишая мучительную боль. И приобщал императора перед смертью не автор «Крейцеровой сонаты», но автор «Моей жизни во Христе». И если бы действительно случилось чудо и император тогда выжил, неизвестно еще, кто встал бы в его глазах на первое место «самого замечательного человека в России».

Вернувшись из Крыма вместе с телом покойного царя, отец Иоанн сказал одной из газет: «Я мертвых воскрешал, а Батюшку-Царя не мог у Господа вымолить. Да будет на все

Его Святая воля...»

Но пройдет четырнадцать лет, и тот же исповедник и чудотворец, что в Крыму пытался спасти одного болящего от смерти, в своем дневнике пожелает другому – скорейшей гибели: «Господи, не допусти Льву Толстому, еретика, превзошедшему всех еретиков, достигнуть до праздника Рождества Пресвятой Богородицы...»

Это был сентябрь 1908 года, восьмидесятилетний юбилей Толстого, и он был серьезно болен. Отказали ноги, и юбиляра вывозили к гостям в специальном кресле-каталке. Есть кинохроника, где старого, слабого Толстого в кресле вывозят на балкон яснополянского дома. Больной еле заметно улыбается... О болезни Льва Толстого бесконечно писали газеты, и Кронштадтский, конечно, об этом знал. Но Толстой тогда как раз выжил. Зато в конце декабря 1908 года умер сам отец Иоанн.

С величайшими, почти царскими почестями тело покойного было доставлено по льду Финского залива из Кронштадта в Петербург и похоронено в Иоанновском женском монастыре, им же основанном, в специальном храме-усыпальнице из белого мрамора с проведенным туда электрическим освещением. Подобной чести не был удостоен ни один священник России за все времена ее существования.

Народ искренне любил Иоанна Кронштадтского. Миллионы людей верили в него как в святого еще при жизни. Чехов говорил, что в каждой сахалинской избе он видел портреты

отца Иоанна, которые висели рядом с иконами. Но вот когда вся Россия оплакивала любимого батюшку, искренне любивший русский народ Лев Толстой в Ясной Поляне написал о том, «как человек, называющийся русским императором, выразил желание о том, чтобы умерший, живший в Кронштадте, *добрый старичок* (курсив мой. – П.Б.) был признан святым человеком, и как синод, т. е. собрание людей, которые вполне уверены, что они имеют право и возможность предписывать миллионам народа ту веру, которую они должны исповедовать, решил всенародно праздновать годовщину смерти *этого старичка* (курсив мой. – П.Б.) с тем, чтобы сделать *из трупа этого старичка* (курсив мой. – П.Б.) объект народного поклонения».

Пройдет еще два года. В 1910 году, поздней осенью, Толстой бежит из Ясной Поляны – в монастырь: сперва в Оптину пустынь, затем – в Шамордино. Он и остался бы в Шамордине, если бы не ряд нелепых и отчасти случайных обстоятельств. После бегства из Шамордина он лишится последних сил, сойдет на станции Астапово и умрет. Он переживет своего соперника на два года.

Так завершится один из самых невероятных сюжетов в религиозной и общественной истории России, который будущий биограф отца Иоанна Кронштадтского назовет «битвой гигантов» и который начался с невинного светского разговора императора Александра III и фрейлины Толстой о том, кто же на Руси замечательнее и популярнее всех. Впрочем,

началось это гораздо раньше.

Глава первая

СВЯТОЙ ЛЕВ, ПАПА РИМСКИЙ

Сделаться маленьким и к матери, как я представляю ее себе. Да, да, маменька, которую я никогда не называл, еще не умея говорить. Да, она, высшее мое представление о чистой любви, но не холодной Божеской, а земной, теплой, материнской. К этой тянулась моя лучшая, уставшая душа. Ты, маменька, ты приласкай меня.
1906 год

Запись Л.Н.Толстого на клочке бумаги

МАДОННА В КРЕСЛЕ

Церковный историк русской литературы М.М.Дунаев пишет: «По собственному признанию Толстого, он в пятнадцать лет носил на шее медальон с портретом Руссо вместо креста. И боготворил женевского мыслителя...»

Но откуда взялось это *собственное* признание, которое довольно часто тиражируют противники Толстого? Ссылка дается на первый том биографии Толстого, написанной П.И.Бирюковым еще при жизни писателя. Бирюков был близким другом семьи Толстых, лично общался с писателем во время работы над биографией, поэтому свидетель-

ство приобретает особый вес. На самом деле Бирюков сообщает нам вот что.

В 1901 году Толстого в Ясной Поляне посетил француз Paul Boyer, затем описавший в женеvской газете “Le Temps” свои впечатления от трех дней, которые он провел вместе с Толстым.

Там он привел *устные* слова Толстого:

«К Руссо были несправедливы, величие его мысли не было признано, на него всячески клеветали. Я прочел всего Руссо, все двадцать томов, включая “Словарь музыки”. Я более чем восхищался им – я боготворил его. В 15 лет я носил на шее медальон с его портретом вместо нательного креста. Многие страницы его так близки мне, что мне кажется, я их написал сам...»

Но достоверность этого признания вызывает большие сомнения. Во-первых, мы получили его из вторых рук. Во-вторых, если Толстой и говорил это, то сильно преуменьшил свой возраст. Впервые он прочитал Руссо в марте 1847 года, в восемнадцать лет.

С тринадцатилетнего возраста Лев вместе со старшими братьями и сестрой жил в Казани у тетушки Пелагеи Ильиничны Юшковой, родной сестры их рано скончавшегося отца, которая взяла опеку над несовершеннолетними Толстыми. П.И.Юшкова была женщиной хотя и светской, но верующей и богобоязненной. Она старалась дружить с монахами и церковными иерархами. Мог ли подобный посту-

пок племянника остаться незамеченным? Теоретически, конечно, мог. Всё могло быть. Вопрос в том, почему ничем не подтвержденное свидетельство иностранного гостя мы принимаем за несомненную истину? Не потому ли, что этим «фактом» проще всего проиллюстрировать раннее «безбожие» Толстого? Вместо того чтобы внимательно изучить его религиозное воспитание, не легче ли повесить на шею вместо креста портрет Руссо?..

При этом достоверно известно, что из двадцати икон рода Толстых, сохранившихся и по сегодняшний день в Ясной Поляне, пять икон принадлежали Льву Толстому. Все они описаны в прекрасной книге Т.В.Комаровой «Семейные реликвии рода графов Толстых».

Во-первых, это православная икона святого Льва, папы Римского, подаренная бабушкой Пелагеей Николаевной Толстой, урожденной Горчаковой. Мы не знаем точно, почему Толстого при рождении назвали Львом. Но святого ему определили по святцам. Им оказался Лев, папа Римский, память которого празднуется нашей церковью 18 февраля (3 марта нового стиля).

Святитель Лев I Великий (390–461) был папой до раздела церковей, так что ничего специально «католического» в святом Льва Толстого не было. Православный тропарь святителю Льву звучит так: «Православия наставниче, благочестия учителю и чистоты, вселенная светильниче, архиереев Богодухновенное удобрение, Льве премудре, ученьми твоими вся

просветил еси, цевнице духовная. Моли Христа Бога спастися душам нашим».

Папа Лев I был высокообразованным человеком. С юных лет обучался книжной премудрости, познакомился с философией, но возлюбил духовное житие более мирского. Он служил архидиаконом у папы Сикста III и по смерти Сикста единогласно был избран в первосвятители Римской церкви.

Лев I прославился двумя событиями в своей жизни. Первое из них относится к разряду чудес, а второе является историческим фактом.

Аттила, предводитель гуннов, покорив полмира, пришел в Италию, намереваясь и ее опустошить. Видя, что никто не может сопротивляться завоевателю, папа Лев обратился с молитвой к Богу и, призвав на помощь святых апостолов Петра и Павла, отправился к Аттиле. После беседы с ним грозный Аттила отошел от пределов Италии. На вопрос: «Почему он убоился одного римлянина, пришедшего без оружия?» – Аттила ответил: «Не видели вы того, что я видел, а видел я двух ангелоподобных мужей, стоявших по обеим сторонам папы (это были апостолы Петр и Павел. – П.Б.). В руках они держали обнаженные мечи и грозили мне смертью, если я не послушаюсь Божия архиерея».

Вторым и уже реальным деянием папы Льва была победа над Несторием, патриархом Константинопольским, занимавшим кафедру с 428 по 431 год. Несторий проповедовал еретическое учение о том, что Иисус Христос не Бог, а толь-

ко человек, удостоенный за свою святость благодати Божией и спасающий людей наставлениями и примером жизни. За это Несторий был отлучен от церкви на III Вселенском соборе, созванном по инициативе папы Льва, и умер в ссылке в 436 году.

Это была именно та ересь, которую спустя почти полторы тысячи лет проповедовал и Лев Толстой.

Вторая икона – святых Николая, Никона, Марии и Марфы – была подарена Толстому тетужкой Пелагеей Ильиничной Юшковой, той самой, что вроде бы проморгала момент, когда ее несовершеннолетний племянник снял с себя нательный крест и повесил туда медальон с портретом Руссо.

Третья икона – Божией Матери Владимирской с надписью на обороте «Графу Льву» – подарок троюродной тетужки Татьяны Александровны Ёргольской. Она же подарила ему образ святого мученика Трифона.

Святой Трифон родился в Малоазийской Фригии в первой половине III столетия. Горячо веруя в Христа, он получил дар исцелять болезни и изгонять бесов, от вылеченных же в ответ требовал уверовать в Христа-Бога, благодатью Которого он исцелял. За свою проповедь святой Трифон был схвачен, император Деций лично приказал его казнить. Но прежде чем палач занес меч, святой Трифон предал душу свою в руки Божии. Это произошло в 250 году...

Существует московское предание, будто святой Трифон помог сокольничему Ивана Грозного князю Трифону Патри-

кееву найти любимого царского кречета, упущенного во время охоты. Этот проступок мог стоить князю жизни, и он горячо молился о помощи, пока не заснул от изнеможения. Во сне князю явился святой Трифон и указал место, где находится сокол. Князь, пробудившись, немедленно поехал туда и действительно увидел птицу, спокойно сидевшую на ветке дерева. В благодарность за свое чудесное спасение он построил на том месте часовню памяти святого Трифона.

Т.А.Ёргольская любила младшего Льва больше его старших братьев. Может быть, поэтому она была особенно щедра на дарение ему икон, связанных со скорой помощью. Например, икону святого Трифона в Москве простой народ так и называл: «Скорая помощь». Хорошо зная сложный характер своего племянника, тетушка предчувствовала его непростую судьбу и стремилась обезопасить от всех напастей. Поэтому особый интерес представляет пятая из сохранившихся в Ясной Поляне икон Льва Толстого, тоже подаренная Ёргольской, образ Божией Матери «Трех радостей».

История ее дарения не совсем ясна. Со слов жены писателя Софьи Андреевны, она была передана Льву Николаевичу перед его отъездом на Крымскую войну в феврале 1854 года. После официального перевода с Кавказа в Бухарест он действительно приезжал в отпуск в Ясную Поляну в начале февраля 1854 года. Там он встречался с братьями и с любимой тетенькой, с которой во время службы на Кавказе состоял в нежной переписке.

Но именно из этой переписки мы узнаём, что еще в мае 1853 года Т.А.Ёргольская с оказией отправила ему «образок Богородицы», который она «вырвала из рук Колошина». С братьями Колошиными – Сергеем, Дмитрием и Валентином – Толстой общался в 1850 году, находясь в Москве. В их сестру Соню Колошину он был влюблен. Это была его первая любовь, описанная в повести «Детство», где Сонечка Колошина выступает под фамилией Сонечки Валахиной.

Отец Колошиных, декабрист Павел Иванович Колошин, был знакомым отца Льва Толстого, Николая Ильича. Кроме того, Толстые и Колошины состояли в отдаленном родстве.

В пятидесятые годы один из братьев Колошиных, Сергей Павлович, был успешным писателем и журналистом. Толстой завидовал ему, о чем сообщал в письме к Ёргольской: «Он честно зарабатывает свой кусок хлеба, и зарабатывает его больше, чем приносят триста душ крестьян». Но вот другого брата, Валентина Павловича, постигла трагическая судьба.

Вместе со Львом Толстым он воевал в осажденном Севастополе. 4 сентября 1855 года Толстой писал Ёргольской: «Валентин Колошин, которого я здесь очень полюбил, пропал. Я не писал его родителям, потому что я надеюсь еще, что он взят в плен. На запрос, который я послал в неприятельский лагерь, не пришло еще ответа». Посылая этот запрос, Толстой не знал, что прапорщик 11-й артиллерийской бригады Валентин Колошин был убит во время последнего

штурма Севастополя.

Итак, 23 мая 1853 года тетенька послала на Кавказ «образок Богородицы», «вырвав из рук Колошина» (отца? одного из братьев?). «... я поручаю тебя Ее святому покровительству, да будет Она тебе в помощь во всех случаях жизни, пусть Она руководит тобой, поддерживает тебя, охраняет и вернет нам живым и здоровым. Эту горячую молитву я обращаю к Ней денно и ночью за тебя, мое милое дитя, мой обожаемый Лёва». Еще она отправила ему «бальзам от ревматизма и от зубной боли, а также пару шерстяных чулок, которые я сама связала, чтобы ты носил их на охоту».

Могла ли она знать, что не пройдет и месяца, и во время поездки в крепость Грозная ее «обожаемый Лёва» подвергнется нападению чеченцев, чудом не попав в плен?

Уже в старости Толстой расскажет своему врачу Душану Петровичу Маковицкому, как это было:

– Ехали мы в Грозный, шла этот раз оказия, солдаты идут спереди и сзади, и я ехал с моим кунаком Садо – мирным чеченцем.

– И с Полторацким, – добавила Софья Андреевна.

– И перед тем я только что купил кабардинскую лошадь – темно-серую, с широкой грудью, очень красивую, с огромным прбездом (знаете, что такое прбезд? Что рыси равно; ходак – такую лошадь зовут ходаком), – но слабую для скачек. А сзади ехал Садо на светло-серой лошади, ногайской, степной (там были ногайцы-татары) – была на длинных но-

гах, с кадыком, большой головой, поджарая, очень некрасивая, но резвая. Поехали втроем. Садо кричит мне: «Попробуй мою лошадь», и мы пересели. И тут очень скоро после того выскочили из лесу, с левой стороны, на нас человек восемь-десять и кричат что-то по-своему. Садо первый увидел и понял. Полторацкий на артиллерийской лошади пустился скакать назад. Его очень скоро догнали и изрубили. У меня была шашка, а у Садо ружье незаряженное. Он им махал, прицеливался и таким способом уехал от них. Пока они переговаривались с Садо, я ускакал на лошади, а он за мной. Меня спас особенный случай – что я пересел на его лошадь.

Посылая своему племяннику образок «Трех радостей» (конечно, это был он), Ёргольская ничего этого знать не могла; это случилось, повторяем, спустя месяц. Но к тому времени она прочитала очерк Толстого «Набег», который он в декабре 1852 года послал Некрасову в Петербург и который вышел в мартовском номере журнала «Современник». «Ах, ежели бы ты знал, какое я переживаю горе, когда я долго без известий, думая, что ты в походе, среди всех ужасов войны, и я содрогаюсь от страха от всего того, что подсказывает мне воображение, особенно с тех пор, как я прочла твое последнее сочинение (Набег, рассказ волонтера), – пишет она в апреле 1853 года. – Ты описываешь всё так верно, так натурально этот набег, в котором ты участвовал волонтером, что я вся дрожала, думая о всех опасностях, которым вы с Николенькой (старший брат Л.Н.Толстого, служивший

на Кавказе. – П.Б.) подвергались, и усердно молила Всевышнего, чтобы Он сохранил вас целыми и невредимыми».

И вот она посылает ему на Кавказ образок «Трех радостей». Но почему именно этот?

Крохотный деревянный образок (8,5 × 6,5 см) в серебряном окладе, закрытый с оборота бархатной «сорочкой». Серебряный оклад почти полностью покрывает икону, оставляя в живописном виде только лицо Матери и Ее кисти, лицо младенца Иисуса с голыми ножками и локотком (остальная часть Его руки трогательно спрятана в серебряном одеянии Матери), и кроткое лицо Иоанна Крестителя.

В позе женщины, уютно сидящей в кресле и склонившейся к головке сына естественным движением молодой матери, которое невозможно спутать ни с чем другим; в позе самого младенца, прильнувшего к матери как бы в поисках защиты от кого-то (а видит он перед собой нас, зрителей); и даже в выражении лица Иоанна Крестителя, мальчишки, есть что-то удивительно милое и *домашнее*, чего нет в «Сикстинской Мадонне» Рафаэля, стоящей на облаках, графическое изображение которой висит над рабочим столом в яснополянском кабинете Льва Толстого.

А между тем эта крохотная икона – тоже копия картины кисти Рафаэля, «Мадонны в кресле», оригинал которой находится во Флоренции в палаццо Питти. Причем Мадонна сидит не просто в кресле, а в папском кресле.

Неизвестный русский художник XIX века, делавший эту

копию скорее всего с одной из других многочисленных копий, а не с оригинала, изрядно погрешил против изначального образа. Прежде всего это касается Иисуса. На иконе у Него робкий и опущенный взгляд. У Рафаэля Он смотрит вверх и довольно смело. Ножки младенца плохо прорисованы. И вообще весь рисунок не отличается мастерством. Испорченное временем изображение лица Иоанна Крестителя тоже не вполне соответствует тому, что мы видим у Рафаэля. В лице рафаэлевского Иоанна куда больше вдохновенного восторга, а не умиления, как в «Трех радостях».

Копия Рафаэлевой Мадонны была привезена в Россию в начале XVIII века неким благочестивым живописцем. После его смерти родственник, служивший священником, выставил ее на паперти церкви Троицы на Грязех в Москве на Покровке. Однажды в этом храм пришла знатная женщина, с которой случились сразу три несчастья: сослали мужа, сын попал в плен, а имение отобрали в казну. Ей приснился вещий сон, что она должна отыскать икону Святого семейства и молиться ей, который и привел ее в церковь на Покровке. После молитвы перед этим образом она получила три радостных известия: мужа оправдали, сын был вызволен из плена, а имение вернули семье. С тех пор престол иконы «Трех радостей» являлся центральным в соборе Троицы на Грязех. Икона считалась заступницей невинно оклеветанных, разлученных с близкими и потерявших накопленное своим трудом.

Отзвук этого подарка Ёргольской любимому племяннику мы находим в «Войне и мире» в сцене, где княжна Марья Болконская умоляет брата взять с собой на войну образок, тоже в серебряном окладе (правда, с ликом Спасителя), который еще их дедушка «носил во всех войнах», и просит дать обещание никогда не снимать этот образок. И князь Андрей, будучи в это время полным атеистом, – соглашается. С этим даром символически связано будущее вызволение князя Андрея из французского плена и то, что перед смертью он приходит к вере в Бога.

Толстой не верил в чудеса. Но он знал семейные предания. В частности, предание о чудесном спасении его прадеда по матери, Сергея Федоровича Волконского, генерал-аншефа и участника Семилетней войны с Пруссией. Когда тот находился в походе, его супруге приснился сон, в котором чей-то голос велел ей заказать икону с изображением на одной стороне иконы Живоносного Источника, а на другой – Николая Чудотворца. Она заказала такую икону и послала мужу. Сергей Федорович надел ее на грудь, и неприятельская пуля ударила в икону, генерал был спасен.

Образок «Трех радостей» сопровождал Толстого на всех войнах и вообще везде – до его разочарования в Церкви. Если во время отъездов из Ясной Поляны Толстой забывал взять его с собой, ему напоминала жена. Когда летом 1871 года он поехал лечиться в Башкирию на кумыс, в Москве его догнало письмо от Софьи Андреевны, переданное с ее бра-

том Степаном Берсом, который затем сопровождал Толстого в поездке:

«Посылаю тебе, милый Лёвочка, опомнившегося Стёпу и образок, который всегда, везде был с тобой и потому и теперь пускай будет. Ты хоть и удивишься, что я тебе его посылаю, но мне будет приятно, если ты его возьмешь и сбережешь».

Внимательная переписчица романа «Война и мир», к тому времени уже законченного, жена Толстого наверняка видела в этом поступке свою символику. Прототипом княжны Марьи Болконской была мать Толстого – Мария Николаевна Толстая, урожденная княжна Волконская. Передавая мужу забытый им образок «Трех радостей», Софья Андреевна как бы тонко намекала на свою незримую связь и с самым любимым Толстым женским образом его романа, и с самой дорогой для него женщиной в мире – его матерью. В этом жесте она, жена, сливалась с образами сестры и матери...

Софья Андреевна всегда выделяла этот образок и молилась перед ним так же часто, как перед большим образом Спасителя, о чем она сообщает в дневнике. Она пишет, что этот образок возрождал в ней чувство «девичьей чистоты». Но скорее всего ничуть не меньше ее привлекала тема Святого семейства. Мария как Дева наиболее проявлена в «Сикстинской Мадонне», а в «Мадонне в кресле» более всего выражена материнская составляющая. В русской же копии, принадлежавшей Толстому, эта составляющая подчеркнута еще больше.

После того как Толстой в конце семидесятых – начале восьмидесятых годов разочаровался в церковной вере, он отказался от всех своих икон. Вместе с иконой «Трех радостей» они перешли на домашнюю половину его жены, которая сохранила их даже в революционные годы. Примечательно, что именно в это время (конец семидесятых – начало восьмидесятых) начинается неразрешимый конфликт в семье, не прекращавшийся до самой смерти писателя.

Образок «Трех радостей» был связан в душе Толстого не только с его любимой тетенькой. Такая же икона, но гораздо большего размера (60 × 40 см), висела в склепе на церковном кладбище в селе Кочаки, где в 1830 году была похоронена мать Толстого. Икона была украдена из склепа в 1938 году, но сохранилось ее описание, сделанное кладбищенским сторожем, отец которого служил священником в Никольском храме в Кочаках. Она была «в деревянной раме желтого цвета и изображала копию с Мадонны Рафаэля – Божия Матерь с младенцем на руках и Иоанн Креститель. Наверху надпись: “Икона Божьей Матери трех радостей”».

ТАЙНА МАТЕРИ

Мы много знаем о матери Льва Толстого. Мы знаем, что не было в мире другой женщины, которая оказывала бы такое сильное влияние на его религиозное чувство. Но понять суть этого влияния трудно.

Между тем в этой *тайне матери*, возможно, заключено объяснение того, что мы называем «религией Толстого», неважно – принимаем мы эту религию или сурово отрицаем.

Толстой боготворил свою мать. Он молился на нее. «Она представлялась мне таким высоким, чистым, духовным существом, что часто в средний период моей жизни, во время борьбы с одолевавшими меня искушениями, я молился ее душе, прося ее помочь мне, и эта молитва всегда помогала мне», – сообщает он.

Одним из самых важных религиозных принципов Толстого был отказ от Бога-Личности, Бога Живого, его убеждение, что Бог есть «неограниченное всё». Возникает искушение предположить, что в образе матери Толстой восполнял для себя эту болезненную утрату – не иметь возможности *ощутительного* соединения с Богом. Об этом однажды написала из Шамординского монастыря его сестра Мария Николаевна Толстая – полная тезка их матери и к тому же внешне похожая на нее: «... я тебя очень, очень люблю, молюсь за тебя, чувствую, какой ты хороший человек, как ты луч-

ше всех твоих Фетов, Страховых и других. Но всё-таки как жаль, что ты не *православный*, что ты не хочешь *ощутительно* соединиться с Христом... Если бы ты захотел только соединиться с Ним... какое бы ты почувствовал *просветление* и мир в душе твоей и как многое, что тебе теперь непонятно, стало бы тебе ясно, как день».

В образе матери Толстой и восполнял это недостающее звено между безличностным Богом, которого просто невозможно любить, и им самим, Львом Толстым, человеком с крайне повышенной чувствительностью или с тем, что он сам называл *беспредельной потребностью любви*...

Но здесь мы сталкиваемся с поразительным противоречием. Толстой не знал своей матери. Она умерла после родов Маши в 1830 году, когда Льву не было и двух лет. Ее портреты не сохранились, кроме черного силуэта, на котором, как гадают специалисты, она изображена то ли совсем девочкой, то ли взрослой девушкой. О том, что сестра Маша похожа на нее, Лев знал лишь по свидетельству старших братьев и тетушек.

Конечно, Толстой был великим художником, и ему ничего не стоило вообразить свою мать, чтобы *ощутительно* молиться ей. В конце концов, девушки XIX века могли повально влюбляться в Андрея Болконского, как об этом вспоминала писательница Тэффи. Как же гимназисткой негодовала она на автора «Войны и мира» за то, что князь Андрей у него визжит, чего в ее представлении быть просто не могло!

Однако здесь возникает второе противоречие. Да, Толстой не помнил своей матери. Он не знал ее лица, ее голоса. Но о личности Марии Николаевны Толстой-Волконской он мог составить себе вполне ясное представление из тех бумаг, что остались после нее и хранились именно в Ясной Поляне. Толстой самым внимательным образом читал эти бумаги, что следует из его «Воспоминаний». Он хорошо знал, какими были реальные отношения между матерью и ее мужем (его отцом), между матерью и отцом (его дедом). Собственно, личность Марии Николаевны и была восстановлена будущими биографами Толстого из этих бумаг. Это ее проза, ее письма, ее дневник. И всё это Толстой хорошо *знал*.

Но зачем-то он *придумал* себе мать совсем не такой, какой она была на самом деле. Великий реалист, заставлявший князя Андрея визжать, а Наташу Ростову – тщательно мыть уши перед первым балом, Толстой оказался совершенным идеалистом в создании мифа о матери.

Начало сотворения этого мифа – в «Детстве»; его продолжение – в «Войне и мире»; его завершение – тот загадочный культ матери, который Толстой исповедовал в старости.

Когда в 1908 году Толстому сказали, каким удивительным человеком была Мария Николаевна, он, едва сдерживая слезы, возразил:

– Ну, уж этого я не знаю; я только знаю, что у меня есть *culte* к ней.

В это же время он пишет в дневнике: «Не могу без слез

говорить о моей матери». И – чуть раньше: «Нынче утром обхожу сад и, как всегда, вспоминаю о матери, о “маменьке”, которую я совсем не помню, но которая осталась для меня святым идеалом».

«Не знаю»... «знаю»... «вспоминаю»... «не помню»... Каждый раз, говоря о матери, Толстой словно сознательно заставлял себя напрягать свое мощное воображение, свое поэтическое чувство там, где факты подсказывали вполне ясные ответы. С Богом Толстой поступал как раз противоположным образом: он пытался соединиться с Ним мыслью, а не *ощутительно*.

Непостижимого Бога он старался постичь умом, а земной и вполне постижимый образ Марии Николаевны он наделял неземными чертами и делал святым идеалом женщину, о которой сохранилось немало живых свидетельств, говорящих, что Мария Николаевна хотя и была личностью незаурядной для своего времени, но точно не святой.

Ее отец Николай Сергеевич Волконский был умным и гордым человеком, прекрасным военным чиновником и еще более замечательным помещиком. Существует легенда (возможно, что и вполне достоверная), которую очень любил его знаменитый внук, в молодости не просто уважавший своего деда, но и стремившийся ему подражать. Будто бы Волконский отказался жениться на племяннице и любовнице Потемкина Вареньке Энгельгардт, сказав: «С чего бы он взял, чтобы я женился на его б...» Отзвук этой легенды мы най-

дем в повести «Отец Сергей»: князь Касатский узнаёт, что любимая девушка – любовница императора, и это решительно меняет его судьбу. Князь Волконский служил в царствование Екатерины II и Павла I. Он то бывал близок ко двору, то подвергался опале. Завершил службу в качестве военного губернатора Архангельска и уволился в чине генерала от инфантерии. Вероятно, это было связано с тем, что вступивший на престол Павел недоверчиво относился к офицерству, выдвинувшемуся в царствование его матери.

И на то были основания. Н.С.Волконский не был фрондером, но был человеком независимым. Старый князь Волконский в «Войне и мире» списан с него довольно точно. Это, в частности, касается и его религиозных воззрений.

«Николай Сергеевич, – пишет в ставшей библиографической редкостью книге “Мать и дед Л.Н.Толстого” старший сын писателя Сергей Львович Толстой, – не только не был богомолен, но был равнодушен к православию и даже в душе – вольнодумцем (*libre penseur*). Это следует из подбора оставшихся после него книг и из того, что в Ясной Поляне не осталось никаких следов от какого бы то ни было отношения его к православию. Между тем при его богатстве он легко мог построить церковь в Ясной Поляне – на деревне или у себя на усадьбе; он этого не сделал, а строил дома и хозяйственные постройки. Конечно, он исполнял церковные обряды, считая, что так нужно, но, вероятно, он относился к ним только формально.

Возможно, что Николай Сергеевич был масоном; намеком на это может служить нахождение в его библиотеке старинного масонского песенника 1762 года вместе со статутами масонов».

Был ли Николай Сергеевич масоном, нам неизвестно. Но хорошим хозяином – был. После смерти он оставил дочери образцовое имение Ясная Поляна (Ясные Поляны, Ясное) с красивой усадьбой, разбитой в стиле парадиза XVIII века, с английским парком, системой искусственных прудов, недостроенным трехэтажным барским домом и полностью завершенными хозяйственными постройками, о которых его внук Лев Толстой потом писал: «Все его постройки не только прочны и удобны, но чрезвычайно изящны».

Тот факт, что Николай Сергеевич так и не построил на деревне своего храма, говорит не столько о его равнодушии к религии, сколько о хозяйственных приоритетах. К этому же стоит отнести и то, что барский дом он не достроил, а вот хозяйственные постройки завершил. Его зять, Николай Ильич Толстой, тоже не позаботился о строительстве в Ясной Поляне храма, но вот в купленном им незадолго до смерти имении Пирогово церковь все-таки заложил – слишком далеки были от деревни другие приходы. Свой приход повышал статус нового села, следовательно, и самого имения; кроме того, служил к укреплению нравственности крестьян.

«Дед мой считался очень строгим хозяином, – пишет в своих поздних “Воспоминаниях” Лев Толстой, – но я ни-

когда не слыхал рассказов о его жестокостях и наказаниях, столь обычных в то время. Я думаю, что они были, но восторженное уважение к важности и разумности было так велико в дворовых и крестьянах его времени, которых я часто спрашивал про него, что хотя я и слышал осуждения моего отца, я слышал только похвалы уму, хозяйственности и заботе о крестьянах и, в особенности, огромной дворне моего деда. Он построил прекрасные помещения для дворовых и заботился о том, чтобы они были всегда не только сыты, но и хорошо одеты и веселились бы. По праздникам он устраивал для них увеселения, качели, хороводы. Еще более он заботился, как всякий умный помещик того времени, о благосостоянии крестьян, и они благоденствовали, тем более что высокое положение деда, внушая уважение становым, исправникам и заседателям, избавляло их от притеснения начальства».

О деде Толстого можно судить по сохранившейся полулегенде-полуистории: Александр I, проезжая мимо Ясной Поляны, обещал заехать к Волконскому, но проспал станцию; тогда Волконский немедленно запряг лошадей, догнал императора и уже из-под Тулы привез его к себе домой.

Волконский рано овдовел. Его жена Екатерина Дмитриевна (урожденная княжна Трубецкая) умерла в 1792 году, через два года после рождения дочери Марии, которая оказалась единственным ребенком (другая дочь умерла в детстве) и наследницей своего властного отца. Мария Никола-

евна стала полусиротой (без матери) в том же возрасте, что и ее младший сын Лев. Возможно, что это тоже как-то объединяло Льва Толстого с образом его матери.

В биографии Марии Николаевны Волконской есть один темный период. Непонятно, кто именно воспитывал ее с 1792 по 1799 год, когда отец по долгу службы находился в постоянных разъездах. Интересно, что отец Льва Толстого, Николай Ильич, до своей смерти в 1837 году тоже постоянно и надолго отлучался из Ясной Поляны. Этого требовали заботы о приобретенных им новых имениях. Таким образом, до восьмилетнего возраста Лев Толстой тоже хотя и жил с отцом, но воспитывался не им, а бабушкой, тетюшками и, разумеется, учителями и гувернерами.

Поселившись навсегда в Ясной Поляне, Н.С.Волконский крепко взялся за воспитание единственной дочери и за двадцать два года, до своей смерти в 1821 году, создал из нее хотя и не свое полное подобие, но личность незаурядную.

О том, как отец воспитывал дочь, мы знаем из двух ее сохранившихся тетрадок. Одна озаглавлена «Некоторые примечания, ведущие к познанию хлебопашества в сельце Ясная Поляна». Сведения тщательно записаны печатными буквами, вероятно, под диктовку Николая Сергеевича. Вторая тетрадь имеет название «Примечания о Математической, Физической и Политической Географиях». На обложке, по-видимому, рукой Николая Сергеевича надписано: «Для княжны Волконской». Направление понятно.

«Математика – великое дело, моя сударыня, – говорит княжне Марье старый князь Болконский в “Войне и мире”. – А чтоб ты была похожа на наших глупых барынь, я не хочу».

Кроме отца у Марии Николаевны были и другие учителя. Она получила прекрасное образование: знала три иностранных языка и, что было редкостью для женщин ее круга, замечательно говорила и писала по-русски, а не только по-французски.

Хозяйственные заботы не мешали Волконскому предаваться эстетическим удовольствиям, которые занимали в его жизни и жизни дочери важное место. «Вероятно, он также очень любил музыку, – писал в «Воспоминаниях» Лев Толстой, – потому что только для себя и для матери держал свой хороший небольшой оркестр. Я еще застал огромный, в три обхвата, вяз, росший в клину липовой аллеи и вокруг которого были сделаны скамьи и пюпитры для музыкантов. По утрам он гулял по аллее, слушая музыку. Охоты он терпеть не мог, а любил цветы и оранжерейные растения...»

Его дочь Мария Николаевна была натурой одаренной. Ее перу принадлежит не только ярким и живым языком написанный дневник, рассказывающий о путешествии с отцом в Петербург, но и подражательная, в духе Ричардсона, повесть в двух частях «Русская Памела, или Нет правила без исключения».

Наиболее важным документом для понимания ее взглядов, в том числе и на религию, является дневник, озаглав-

ленный «Дневная Запись для собственной памяти». Перед нами предстает личность, совсем не похожая на княжну Марью. В ней нет ни тени религиозной экзальтации, ни малейшего желания уйти из мира и скрыться в монастыре, как о том мечтает любимая героиня Толстого, нет даже просто интереса к религиозным вопросам. Разумеется, нельзя сказать, что Мария Николаевна была атеисткой. Но и глубоко верующим человеком она не была.

В Петербург из Москвы Волконские выехали 18 июня 1810 года. Марии тогда было девятнадцать лет. Из дневника видно, что, несмотря на молодость, у нее был зоркий глаз, прекрасное чутье на людей и несомненный литературный дар. При иных условиях она могла бы стать крупной писательницей. А самое главное – она была натурой *умственной*, критической и совсем не запуганной отцом, как княжна Марья. Это был сильный и самостоятельный характер, под стать ее отцу.

С княжной Марьей ее роднила только непривлекательная наружность. Московский почт-директор А.Я.Булгаков писал своему брату, петербургскому почт-директору К.Я.Булгакову в 1822 году: «Княжна Волконская, дочь покойного Николая Сергеевича, с большими бровями, старая девушка, дурная собой...» Однако в дневнике молодой Марии Николаевны не заметно, чтобы она сильно переживала по поводу своей внешности, а тем более хотела бы уйти из мира в затвор. Наверное, переживания были, но они тщательно скрыты, что

говорит об огромном самообладании, несомненно воспитанном в ней родителем.

Юная особа, впервые выехавшая в дальнее для нее путешествие, она смотрит на мир смело и открыто, не боясь выносить суждений и оценивать жизнь критически.

«21-го числа отправились мы опять в путь в седьмом часу. Отъехав около 25 верст, увидели мы колодезь, очень хорошо отделанный, и как мы спросили, то нам сказали, что это есть колодезь святой воды и что тут близко часовня, в которой находится явленный образ Казанской Богородицы. Услышав сие, велели мы подъехать к колодезю, вышли из кареты, выпили несколько воды и пошли пешком до часовни; она очень хорошо построена, и хотя в простом вкусе, но вид ее внушает почтение. Мы вошли, приложились к образу, и батюшка поговорил со сторожем, который подтвердил нам предание о явлении сего образа около двухсот лет тому назад. Хотя невероятно, чтоб в столь неотдаленном времени творились еще чудеса, но как народ не может постигать умственного обожания Бога, то такие предания производят в нем большое впечатление...»

Взгляд Марии Николаевны на «предания» холоден и ироничен. Это взгляд молодой аристократки, столкнувшейся с чуждым ей народным культом и имеющей всему готовое объяснение. Она знает, что и двести лет назад чудес быть не могло, но главное – что эти чудеса нужны только невежественному народу, но уж никак не ей, постигшей «умствен-

ное обожание Бога».

Мария Николаевна Волконская, хоть ей и девятнадцать, была уже развитой девушкой. Для нее Великий Новгород – город, «который был столицей России и часто противился великим князьям». Она высказывает пророческое предположение, что народы Африки когда-нибудь наводнят Европу и «изобретения и труды наших современников послужат добычей диких народов». Она восторженно отзывалась о Екатерине II. В Петербурге отец возит ее не на балы, а в Эрмитаж, в Академию, в Кунсткамеру, на стеклянную, шпалерную и ткацкую фабрики, на прусский корабль, где ее восхищает вежливость иностранных матросов, на французские пьесы «Медея» и «Свадьба Фигаро».

После посещения Гостиного двора и различных лавок они выезжают в Александро-Невский монастырь, где недавно построили новую церковь. «Сия церковь чрезвычайной красоты и великолепия; она построена в простом и благородном вкусе. Все образа, которые в ней находятся, суть мастерские дела лучших живописцев... Мы посмотрели также монументы и отдали долг почтения праху Суворова», – пишет Мария Николаевна в дневнике, ни слова ни говоря о мощах св. Александра Невского.

Были они и в Исаакиевской церкви. «Внутренность ее понравилась мне больше, нежели наружность. Она чрезвычайно великолепна, убрана мрамором, и в ней есть прекрасные барельефы...»

Через несколько дней они с отцом отправились в Исаакиевский собор уже на обедню, но почему-то опоздали. «Как мы тут стояли, прошла мимо нас дама, которая узнала бабушку. Это была Анна Петровна Самарина (фрейлина Екатерины. – П.Б.); она очень обрадовалась, встретивши нас, обласкала меня и принудила нас сесть с нею в карету и ехать к ней». Это вполне светское отношение молодой барышни к таинству богослужения еще более отчетливо проявляется в ее дневниковой записи двумя днями раньше, когда она, находясь в гостях у близких знакомых отца князей Голицыных, с удовольствием слушает, как князя Голицыны после сытного обеда поют «Отче наш» и «Да исправится» «как самые лучшие певчие».

Несомненно, Мария Николаевна Волконская уже в молодые годы была очень умной женщиной. В ее дневнике записаны мысли, которые не мог не оценить ее будущий великий сын:

«В ранней молодости мы ищем всё вне себя. Мы призываем счастье, обращаясь ко всему, что нас окружает; но мало по малу всё нас отсылает внутрь самих себя».

«Иногда не предмет нашей любви делает нам честь, а то, что мы в нем любим».

«Нередко мы могли бы устоять против наших собственных страстей, но нас увлекают страсти других людей».

От кого из своих близких родных Лев Толстой мог перенять аналитический склад ума и независимость суждений,

которые поражали его современников и в которых противники Льва Толстого находили пресловутую «гордыню ума»?

Во-первых – от деда Николая Сергеевича Волконского. «Ежели кому нужно, то тот из Москвы 150 верст доедет до Лысых гор, – говорит в «Войне и мире» старый князь, – а мне ничего и никого не нужно».

Во-вторых – от матери, дневник которой он читал.

В-третьих – от старших братьев, Николая и Сергея.

Когда произошло обращение Толстого к вере? Во всяком случае, это точно не было связано с непосредственным влиянием на него матери, а тем более старших братьев, которых она отчасти успела воспитать. В «Исповеди», в этом поворотном для мировоззрения Льва Толстого произведении, мать не упоминается, за исключением единственного места, к которому мы вернемся. Нигде там не говорится, что старшие братья как-то помогли ему обрести веру в Бога.

Скорее, они влияли на него противоположным образом: «Я всею душой желал быть хорошим; но я был молод, у меня были страсти, а я был один, совершенно один, когда искал хорошего. Всякий раз, когда я пытался выказывать то, что составляло самые задушевные мои желания: то, что я хочу быть нравственно хорошим, я встречал презрение и насмешки; а как только я предавался гадким страстям, меня хвалили и поощряли. Честолюбие, властолюбие, корыстолюбие, любоволюбие, гордость, гнев, месть – всё это уважалось. Отдавая этим страстям, я становился похож на большого, и я

чувствовал, что мною довольны».

Конечно, речь здесь идет не только о старших братьях. Но и о старших братьях тоже. Ведь именно старшие братья были самыми близкими «большими».

«Николеньку я уважал, с Митенькой я был товарищем, но Сережей я восхищался и подражал ему, любил его, *хотел быть им*». «Николеньку я любил, а Сережей восхищался...» «С Николенькой мне хотелось быть, говорить, думать; с Сережей мне хотелось только подражать ему».

«Зеленая палочка»... Да, именно Николенька придумал эту игру в «муравейное братство». Именно он «объявил нам, что у него есть тайна, посредством которой, когда она откроется, все люди сделаются счастливыми, никто ни на кого не будет сердиться и все будут любить друг друга, все сделаются муравейными братьями. (Вероятно, это были Моравские братья, о которых он слышал или читал, но на нашем языке это были муравейные братья.) И я помню, что слово “муравейные” особенно нравилось, напоминая муравьев в кочке. Мы даже устроили игру в муравейные братья, которая состояла в том, что садились на стулья, загораживали их ящиками, завешивали платками и сидели там в темноте, прижимаясь друг к другу...»

С тайной «муравейных братьев» была связана и другая детская тайна. Эта тайна, «как он (Николенька. – П.Б.) нам говорил, написана им на зеленой палочке, и палочка эта закрыта у дороги, на краю Старого Заказа...» Известно, что

Толстой завещал похоронить себя именно в этом месте, и это завещание было выполнено. Но продолжим цитату из его «Воспоминаний»: «... на краю Старого Заказа, в том месте, в котором я, так как надо же где-нибудь закопать мой труп, просил в память Николеньки закопать меня».

По сути Толстой завещает предать земле «в том месте» самое-самое, с его точки зрения, ненужное, бесполезное.

Между тем историю о Моравских братьях, чешских мasons, могла рассказать Николеньке только его мать Мария Николаевна. Она была «большая мастерица рассказывать завлекательные сказки, выдумывая их по мере рассказа», – сообщает Толстой. В свою очередь, об этом мог рассказать ей отец, дед Толстого, который увлекался масонством.

Эта история вместе с воспоминаниями о невинной детской игре в «муравейных братьев», вероятно, подпитывала живыми соками в позднем Толстом его мысли о всеобщей любви и людском братстве. И он мог не обращать внимания на явное противоречие между игрой, где дети *отгораживались* от других людей, а не объединялись с ними, и тем, что проповедовал взрослый Лев Толстой.

«Никакой розни в мирозерцании между отцом и дочерью, как это мы видим в “Войне и мире” (например, в религиозных вопросах), в дневнике Марии Николаевны не заметно», – пишет биограф Толстого Н.Н.Гусев, и с ним придется согласиться.

Мария Николаевна скончалась в том же году, когда Пуш-

кин написал «Мадонну» («Не множеством картин старинных мастеров...»). Толстой любил это стихотворение. Так не видел ли он в личности матери «чистейшей прелести чистейший образец»? Нет, и этого нельзя сказать. Слишком живой и непосредственной была его молитва к «маменьке»! Толстой молился своей реальной матери, воспринимая себя как плоть от плоти и кровь от крови ее.

Толстой знал, что маменька любила его больше всех сыновей, после того как Николенька, став большим мальчиком, отошел от ее прямого влияния. Она называла своего Лёвочку *mon petit Benjamin*². Конечно, Толстой не мог не задумываться над тем, откуда взялось это странное материнское прозвище. Понятно, что к имени Лев оно не имело отношения. Это подтверждается хотя бы повестью «Детство», где Толстой вывел себя под именем старшего брата Николая, но при этом оставил свое домашнее прозвище Benjamin. Вениамин – имя, заимствованное из Библии. Оно происходит из древнееврейского языка и означает «счастливчик, везунчик» (в переводе – «сын правой руки»). По Библии Вениамин был самым младшим сыном Иакова. Его мать Рахиль, которая умерла при родах, назвала его Бенони – «сын боли», но Иаков изменил это имя на Вениамин.

В «Записках сумасшедшего» Толстой вспоминает о первых детских размышлениях: «Я люблю няню; няня любит меня и Митеньку; а я люблю Митеньку; а Митенька любит

² Мой маленький Веньямин (франц.).

меня и няню. А няню любит Тарас; а я люблю Тараса, и Митенька любит. А няня любит маму, и меня, и папу. Все любят, и всем хорошо».

Ранняя смерть матери, которой он совсем не знал, не помнил, тем не менее до такой степени потрясла Толстого, что именно эту смерть он делает ключевой сценой в повести «Детство» и заставит себя самого пережить ее въяве, как если бы он находился тогда в сознательном возрасте. Со смертью матери для Николеньки Иртеньева заканчивается его детство, хотя детство самого Льва Толстого в это время еще только начинается.

В религиозном чувстве Толстого к своей матери есть какая-то глубокая загадка, которую мы не решим рациональным путем. Но можно осторожно предположить, что это религиозное чувство именно в силу своей непостижимости как бы увлажняло слишком сухой рационализм толстовской религии, или толстовства.

Он мог не посещать церковь, мог отказаться от икон. Но совсем отказаться от мистической стороны религии он не мог. Потому что без мистики любая религия не просто теряет очарование, а теряет всякий смысл. На месте отвергнутого Богочеловека обязательно должен возникнуть другой Богочеловек.

Да... Ты, маменька, ты приласкай меня!

Уже один факт, что Толстой верил в чудесные последствия от молитвы к мертвому человеку, говорит о многом.

В подтверждение нашего предположения приведем самое сильное место в «Исповеди», где Толстой отказывается от попытки умственного обоснования религии и пишет о ней художественно – как великий писатель:

«Но опять и опять с разных сторон я приходил к тому же признанию того, что не мог же я без всякого повода, причины и смысла явиться на свет, что не могу я быть таким выпавшим из гнезда птенцом, каким я себя чувствовал. Пускай я, выпавший птенец, лежу на спине, пищу в высокой траве, но я пищу оттого, что знаю, что меня выносила мать, высиживала, грела, кормила, любила. Где она, эта мать? Если забросили меня, то кто же забросил? Не могу я скрыть от себя, что любя родил меня кто-то. Кто же этот кто-то? – Опять Бог».

Глава вторая

ИВАН И ИОАНН

*Лишь святой может вполне понять святого.
Симеон Новый Богослов*

НЕЗАМЕТНЫЙ ВАНЯ

Ваня Сергиев, родившийся в селе Суре Пинежского уезда Архангельской губернии в ночь на 19 октября 1829 года, был в общем-то самым обыкновенным ребенком. Хотя в житийной литературе об Иоанне Кронштадтском звучат намеки на некоторые особенности тихого мальчика, выделявшегося среди сверстников повышенным религиозным чувством, для биографов отца Иоанна не только детство, но и отрочество, и даже юность величайшего из представителей белого православного духовенства до обидного скудны интересными фактами и подробностями.

Просто жил да был сын сельского псаломщика Ваня... Он закончил духовное училище и семинарию в Архангельске, за хорошую учебу и примерное поведение был принят на казенный кошт в Петербургскую духовную академию, где тоже отличался прилежанием и примерным поведением. Он не

гулял, не своевольничал, но и успехов в учебе особых не показывал, закончив академию одним из последних учеников. В конце учебы Иван совершил расчетливый, но понятный для духовного сословия поступок. На вечеринке в академии (до этого на вечеринках не бывал) познакомился с уже не юной и не отличавшейся красотой дочерью протоиерея из Кронштадта Лизой Несвицкой и тотчас сделал ей предложение. Сам Несвицкий уходил на покой, таким образом место освобождалось для зятя. Это был обычный церковный брак по расчету, скрепленный брачным договором, по которому зять обязался содержать и жену, и самого Несвицкого, и двух других его дочерей до совершеннолетия. За это он немедленно рукополагался из дьякона во священники, что случилось 12 декабря 1855 года в Александро-Невском монастыре при участии епископа Винницкого преосвященного отца Христофора...

С точки зрения светской морали какая же это была неинтересная жизнь! Сравните ее с молодостью Льва Толстого, который был всего на год старше Ивана Сергиева.

В двадцать пять лет успел повоевать на Кавказе и отправлялся в действующую армию сначала в Румынию, а затем в Крым, на оборону Севастополя. До этого похозяйничал в Ясной Поляне, доставшейся ему при разделе наследства между братьями в 1847 году. Еще раньше начудесил в Казани, выводя из себя профессоров Казанского университета, за что угодил в карцер. К семнадцати годам этот юноша познал не

только женщин, но и венерическую болезнь под названием *гоанарей*. К середине 50-х прославился как писатель повестью «Детство». Недалеко впереди были «Севастопольские рассказы». Прочитав первый рассказ, Александр II будто бы срочно отправил фельдъегеря в Крым, чтобы талантливого поручика отвели служить в более безопасное место. Тогда же Толстой начал вести дневник и страстно мечтал о женитьбе. Но конечно, не такой, как у Ивана Сергиева!

В 1888 году Иван Ильич Сергиев, уже знаменитый отец Иоанн Кронштадтский, получил замечательную возможность создать привлекательный образ своего детства, как это сделал Толстой: журнал «Север» попросил дать автобиографию и, конечно, не стеснял в объеме. Отец Иоанн не обладал литературным талантом, впрочем, иногда неожиданно и потому особенно заметно вспыхивавшим в его дневнике. Но что мешало ему нанять для этого дела какого-нибудь молодого, нуждающегося автора?

«Автобиография» (единственная!) отца Иоанна занимает страничку журнального формата и начинается так: «Я сын причетника села Сурского, Пинежского уезда, Архангельской губернии. С самого раннего детства, как только я помню себя, лет четырех или пяти, а может быть, и менее, родители приучили меня к молитве и своим религиозным настроением сделали из меня религиозно настроенного мальчика. Дома, на шестом году, отец купил для меня букварь, и мать стала преподавать мне азбуку; но грамота давалась мне

туго, что было причиною немалой моей скорби».

И опять, на светский вкус, при чтении этого текста от тоски повеситься можно! А ведь имя Кронштадтского гремело по стране. В его портовый город стекались паломники. Ему завидовали не только рядовые священники, но и митрополиты. К нему пристально и недоверчиво присматривался один из главных церковных авторитетов того времени Феофан Затворник, а обер-прокурор Константин Победоносцев учинил расследование по делу странного кронштадтского батюшки и вызывал его на собеседование.

«Долго не давалась мне эта мудрость, – сообщает отец Иоанн о годах своего учения, – но будучи приучен отцом и матерью к молитве, скорбя о неудачах своего учения, я горячо молился Богу, чтобы Он дал мне разум, – и я помню, как вдруг спала точно пелена с моего ума, и я стал хорошо понимать учение».

Вокруг него кипели нешуточные страсти, а в «Автобиографии» более чем скромно говорится, как его отец, сурский псаломщик, «получал, конечно, самое маленькое жалование, так что жить нам, должно быть, приходилось страшно трудно. Я уже понимал тягостное положение своих родителей, и поэтому моя непонятливость к учению была действительным несчастьем. О значении учения для моего будущего я думал мало и печаловался особенно о том, что отец напрасно тратит на мое содержание свои последние средства».

Тогда на Ваню «напала тоска». «Среди сверстников по

классу я не находил, да и не искал себе поддержки или помощи; они все были способнее меня, и я был последним учеником». «Вот тут-то и обратился я за помощью к Вседержителю, – пишет он, – и во мне произошла перемена». Через короткое время Иван стал одним из первых учеников, был переведен в семинарию, затем послан в Петербургскую академию на казенный счет.

О его учебе в академии не сказано почти ничего.

«В академическом правлении тогда занимали места писмоводителей студенты за самую ничтожную плату (около 10 рублей в месяц), и я с радостью согласился на предложение секретаря академического правления занять это место, чтобы отсылать эти средства матери». Мать его тогда особенно нуждалась в деньгах, потому что, «будучи еще в семинарии, я лишился нежно любимого отца»³.

Всего два-три слова сказано и о женитьбе на Несвицкой.

И вот он уже священник. «С первых же дней своего высокого служения церкви я поставил себе за правило: сколь возможно искренне относиться к своему делу, пастырству и священнослужению, строго следить за своей внутренней жизнью. С этой целью прежде всего я принялся за чтение Священного писания Ветхого и Нового Завета, извлекая из него всё назидательное для себя как для человека вообще и священника в особенности. Потом я стал вести дневник, в

³ Ошибка памяти. Его отец скончался в 1851 году, когда Иван Сергиев уже поступил в академию.

котором записывал свою борьбу с помыслами и страстями, свои покаянные чувства, свои тайные молитвы к Богу и свои благодарные чувства за избавление от искушений, скорбей и напастей».

Далее короткий отчет о его воскресных и праздничных проповедях и об устройстве в Кронштадте Дома трудолюбия... Текст завершается словами: «Вот и всё».

Во всей «Автобиографии» есть только два момента, на которые стоит обратить самое пристальное внимание. Первый – это тема *одиночества* этого человека, у которого с раннего детства не было ни одного близкого друга. Мы ничего не знаем о его близких товарищах ни в селе Суре, ни в Архангельске, ни в Петербурге...

Журналисты жадно охотились за любыми сведениями о кронштадтской знаменитости. В 1913 году, уже после смерти отца Иоанна, в Петербурге вышли две книги: «Отец Иоанн Кронштадтский в духовной семинарии» и «Отец Иоанн Кронштадтский в духовной академии». Похожие как близнецы, эти книги столь же неразличимы, сколь пусты по части интересных фактов.

Ну ладно архангельские семинаристы, разъехавшиеся по неизвестным приходам или вовсе, как часто бывало, бросившие духовное поприще... Но студенты Петербургской академии! Почему почти никто из них, за исключением отца Н.Г.Георгиевского, не оставил воспоминаний об учебе в одних стенах с будущей ярчайшей звездой, настоящим геро-

ем русской церкви, которого В.В.Розанов однажды сравнил с Жанной д'Арк? И это при том, что курс, на котором учился Иван Сергиев, по отзывам преподавателей и историков академии, был выдающимся и талантливым. В его составе – будущие епископ Минский и Туровский Варлаам (Чернявский), епископ Аккерманский Аркадий (Филонов), епископ Елизаветградский Мемнон (Вишневецкий); церковный историк М.О.Коялович, историк и апологет А.И.Предтеченский; известные протоиереи Иоанн Толмачев и Димитрий Соколов.

Ответ прост. И в семинарии, и в академии Иван Ильич Сергиев был самым незаметным студентом.

Георгиевский пишет: «Мы с ним сидели рядом и в аудитории, и в занятой комнате. Отец Иоанн, будучи студентом, отличался необыкновенной тихостью и смиренным характером. Отец Иоанн отличался редкой набожностью. После обычной вечерней молитвы все мы, студенты, ложились спать, а он еще долго, стоя на коленях, молился перед иконою у своей кровати».

Так что же мы знаем о его учебе в академии?

Любил греться у печки («камелька»).

Любил гулять в саду один.

Хотел стать миссионером в Сибири или Америке.

Как у письмоводителя, у него была своя комната.

Первый заработок потратил на толкование Евангелия Иоанна Златоуста.

В книге одного из первых биографов отца Иоанна Николая Большакова «Источник живой воды» еще глухо упоминается, что на четвертом курсе академии Иван Сергиев впал в необъяснимую депрессию, от которой излечился благодаря молитвам.

Вот и всё.

О семинарском периоде не осталось вовсе никаких воспоминаний. Впрочем, известно, что в семинарии Иван был назначен старшим над певчими, публикой самой независимой во всякой бурсе, а попросту пьющей и распущенной, о чем писал еще Н.Г.Помяловский. Эта среда оказалась опасна для Вани, «но спасла его огромная любовь к матери и помощь Божия».

Возникает впечатление, что до 1855 года, то есть до рукоположения во священство, биография Ивана Сергиева представляет собой сплошное белое пятно. «Знаем мы о нем, к сожалению, мало», – признается автор одной из лучших книг об Иоанне Кронштадтском И.К.Сурский (Илляшевич). Как будто до священства Иван не был не то чтобы выдающейся, но даже просто личностью. Человек в футляре. Ходячая набожность.

Но тогда почему же, едва он надевает на себя одежды священника, в Кронштадте вдруг вспыхивает духовный маяк такой ослепительной мощи, что в свет этот сначала многие просто не верят? Не может так сильно гореть обыкновенный человек, простой русский священник!

И здесь мы должны снова вернуться к «Автобиографии», чтобы не пропустить в ней второй очень важный момент.

«С первых же дней своего высокого служения церкви я поставил себе за правило: сколь возможно искренне относиться к своему делу, пастырству и священнослужению».

Запомните это слово: «искренне».

ИВАН ПЕРВЫЙ

Глядя на чудо превращения тихого семинариста, а затем не менее скромного студента во Всенародного Батюшку, о котором не шутя говорили, что «вся Россия – это Кронштадт отца Иоанна», невольно возникает искушение заподозрить в этом элемент лицедейства.

Кстати, в этом подозревали и позднего Толстого, который из барина, аристократа превратился в «мужика». Только тут было превращение наоборот. В первом случае – непомерное возвышение социального образа, во втором – слишком наглядное (не на публику ли?) его снижение. В первом случае из сына бедного дьячка из захолустной Суры возникает отец Иоанн, сияющий – в переносном и прямом смысле – дорогими облачениями, орденами с бриллиантами – подарками богатых поклонников и дарами императорской семьи. Во втором – из родовитого аристократа, впитавшего в себя кровь нескольких знатнейших российских фамилий – Толстых, Волконских, Трубецких и т. д., – возникает «мужичок». Если вспомнить, что эпоха Серебряного века была временем всевозможных масок и личин, то вроде бы всё и становится на свои места.

Игра. Театр.

Но этот путь понимания Иоанна Кронштадтского оставим тем, для кого весь мир – театр и все люди – актеры. Отец

Иоанн, как и Лев Толстой, не был актером.

Тихий мальчик? Но почему именно на этого тихого мальчика чуть ли не с первого дня его рождения словно обращен невидимый перст Божий?

Итак, Ваня родился в ночь на 19 октября 1829 года в месте слияния рек Пинеги и Суры в 500 верстах от Белого моря.

Почти все биографы отца Иоанна начинают свои книги с описания величественной красоты русского Севера и бытовой бедности семьи Сергиевых, дьячка местной церкви Ильи Михайловича и его жены Феодоры Власьевны (в девичестве Порохиной). Автор одной из наиболее интересных прижизненных биографий Иоанна Кронштадтского иеромонах Михаил (Семенов) тоже делает акцент на контрасте между поражающей глаз красотой русского Севера и бросающейся в глаза нищетою жизни его обитателей. Именно этот контраст, считает иеромонах, закалил характер будущего великого пастыря.

«Трудно даже на красивом севере выбрать что-нибудь более красивое, так сказать, нетронутое, чем берега Пинеги. Это постоянная смена самых разнообразных пейзажей. Пустые поместья, попеременно то высокие, покрытые лесами, то низкие берега, луга. Ни поселка, ни случайной человеческой души».

Далее Семенов цитирует книгу одной из спутниц отца Иоанна в ежегодных путешествиях на родину А.Ф.Нарцисовой: «Далеко вглубь – ровная луговая полоса. Немного даль-

ше – громадные горы железной руды, совсем красного цвета, потом ослепительно белые громады алебастра и гипса. Боже мой, что это за горы! То они идут на целую версту неприступными крепостями и вдруг обрываются глубокими ущельями, покрытыми густой зеленью, то возвышаются громадными утесами, которые, того и гляди, готовы рухнуть над вашими головами; то высятся прямо в небо как колоссальные замки самых фантастических форм и очертаний; у подошвы их понаделаны природой причудливые пещеры, а надо всем этим волшебным миром высоко наверху стоит дремучий лес, а еще выше светлое, синее небо. Никакой художник в мире не в силах начертать этой дивной картины, которую Господь создал единым словом Своим».

«Красивый угол... – соглашается Семенов, – но в то же время это и один из самых захудалых уголков всюду темного и бедного Пинежского края... И уж, конечно, далеко не богата была в убогом селе хижина псаломщика Ильи Сергиева... Это неприкрытая, явная нищета, крайняя бедность...»

Подобное начало биографий – искусительный, но неправильный путь. Иоанн Кронштадтский родился на Севере, а Лев Толстой – чуть южнее средней полосы России. Первый появился в бедной семье, второй – в сравнительно обеспеченной. Перед глазами одного мальчика были высокие горы, покрытые дремучими лесами; перед взорами второго – тульская лесостепь, тоже по-своему прекрасная, особенно летом. Второй с первых моментов самосознания знал о своей дво-

рянской родovitости, рассматривая на стенах яснополянского дома потемневшие от времени портреты предков. Первый тоже был непрост: по крайней мере сто пятьдесят лет почти все его предки – причем по обоим родительским линиям – были священниками.

Разумеется, это в какой-то степени определило характеры обоих, их нравственные и эстетические предпочтения. К тому же оба горячо любили свою малую родину и всю жизнь стремились к ней. Толстой не смог бы прожить без своей Ясной Поляны, а Кронштадтский до самой смерти почти ежегодно путешествовал в Суру водным путем, через Финский залив, Ладогу и бассейн северных рек, – путь красивый, но и небезопасный.

В семье Ильи Михайловича Сергиева было шестеро детей, в семье Николая Ильича Толстого – пятеро. И таких священнических и дворянских семей в России было немало. Из некоторых даже выходили крупные люди. Но не такого масштаба, как Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой!

Гораздо важнее, на наш взгляд, что Ваня Сергиев, будучи первенцем, родился настолько хилым, что родители крестили его в ночь рождения, в полной уверенности, что мальчик вот-вот умрет. Они спешили приготовить Ваню к ангельской жизни, не зная, что ангельский чин тот обретет на земле в ином образе. Мальчика нарекли Иваном в честь святого Иоанна Рыльского, память которого праздновалась на следующий день.

Мальчик выжил. А вот второй сын, Никита, родившийся через год, прожил всего четыре месяца и умер «от хрипоты». И тогда третьего сына, родившегося в 1832 году, родители тоже называют *Иваном*. Этот странный семейный поступок все биографы, как и сам отец Иоанн, объясняют тем, что и через три года родители были уверены, что первый Иван обязательно умрет.

Но умирает не первый Иван, а четвертый сын Василий, скончавшийся в восьмимесячном возрасте «от поноса». В семье остаются два Ивана и младшие девочки Анна и Дарья. Анна и Дарья дожили до преклонного возраста, как и самый старший брат. А вот второй Иван прожил лишь семнадцать лет. Вернувшись после учебы в семинарии в Суру, он скончался от чахотки в 1850 году, за год до смерти отца, который тоже умер от чахотки. И можно почти не сомневаться в том, что если бы первый Иван не показал каких-то почти чудесных успехов в учебе и не был послан в Петербург, а вернулся бы в Суру, его бы ждала та же гибельная судьба, которая преследовала всю их мужскую линию.

В характере и поведении первого Ивана с самого начала замечалась та самая *тихость*, которая потом отличала его многие годы. Вроде бы, по воспоминаниям односельчан, в Суре как-то выделяли этого мальчика именно за тихий характер. Между тем северный темперамент – не южный, северяне вообще народ сдержанный. Но простые люди, по-видимому, чувствовали в первом Иване какую-то *особенную ти-*

хость и порой просили именно первого сына местного дьячка помолиться за них, грешных, Богу.

Что это было, мы можем только воображать. Какая-то особая незлобивость? Что-то в глазах, в тембре голоса? Во всяком случае, поначалу своим характером Ваня больше походил на отца. Илья Михайлович Сергиев, судя по воспоминаниям родных, был добрым, религиозным и очень больным человеком. Ваня тоже был очень больным мальчиком. В семинарии несколько раз лежал в больнице по случаю хронического катара, простудной горячки, нервной горячки и дважды болел скорбутом, то есть цингой, смертельной тогда на Севере болезнью. От скорбута семинаристов лечили лимонами и усиленным питанием, тем не менее многие из них умирали. Но Ваня и тогда выжил⁴.

В зрелом возрасте отец Иоанн также не отличался крепким здоровьем. Он болел золотухой, страдал от желудочных заболеваний и постоянно терзавшей его душевной слабости, от которой мучился и Толстой, о чем оба не раз писали в своих дневниках. Но если Толстой до старости оставался физически могучим человеком, богатырем, поднимал двухпудовые гири, бегал наперегонки с детьми, катался на коньках и велосипеде, крутился на турнике, то отец Иоанн представ-

⁴ Здесь и далее в рассказе о детстве и отрочестве отца Иоанна мы с благодарностью используем разыскания Ю.В.Балакшиной и родственницы Иоанна Кронштадтского, сотрудницы Пушкинского Дома Т.И.Орнатской, опубликованные в церковно-историческом альманахе «Кронштадтский пастырь». Выпуск II. – М., 2010.

лял собой биологическое чудо, не объяснимое с точки зрения физиологии. Он спал по четыре часа в день, питался насупех в гостях во время ежедневных поездок в Петербург или путешествий по России, пренебрежительно относился к своему здоровью, считая, что чрезмерное внимание к телесной стороне жизни есть верный признак безбожия и дьявольского искушения. При этом отец Иоанн дожил до семидесяти девяти лет в непрерывном церковном и общественном служении. И в глубокой старости он выглядел гораздо моложе младшей сестры.

В 1905 году Дарья Ильинична Малкина (в девичестве Сергиева) приехала из Суры к отцу Иоанну на празднование 50-летия его пастырства. Она остановилась в Петербурге на квартире своей дочери Анны Семеновны и зятя – священника Ивана Николаевича Орнатского и вскоре тяжело заболела. В Кронштадт была отправлена срочная телеграмма. Отец Иоанн приехал, исповедал сестру, причастил и окропил святой водой помещение.

И тогда, по воспоминаниям духовной дочери отца Иоанна Е.В.Духониной, между братом и сестрой состоялся такой разговор:

- Братик, а сколько тебе лет, ты старше меня или младше?
- Мне семьдесят шесть, а тебе? – отец Иоанн засмеялся.
- А мне восемь шестьдесят (шестьдесят восемь. – П.Б.)⁵.

⁵ На самом деле родившаяся в 1839 году Дарья Ильинична была младше своего брата на целых десять лет.

А выгляжу-то я куда старше тебя.

Путешествовавший с отцом Иоанном в Суру художник С.В.Животовский писал: «За всё наше путешествие нам не раз приходилось встречать ровесников отца Иоанна, его одноклассников по семинарии. Но какие же это всё дряхлые старики сравнительно с ним: он кажется перед ними бодрый юноша, полный сил и энергии». Это был 1903 год, отцу Иоанну семьдесят четыре...

Конечно, бытовая жизнь простых северян в Суре и прославленного священника в Кронштадте различались по уровню комфорта. К тому времени у отца Иоанна были и своя карета, и даже собственный катер. Но невозможно представить степень физической и психологической нагрузки, которой ежедневно испытывал себя на прочность этот человек. Это была жизнь на износ, какое-то сознательное истребление физического тела!

Оставим пока в стороне его общественную деятельность по устройению в Кронштадте Дома трудолюбия и его невероятно кипучую работу по основанию в России нескольких женских монастырей и подворий, что было абсолютно исключительным фактом для приходского священника. Оставим также в стороне ежедневное посещение им в Кронштадте и Петербурге больных (как правило, смертельно больных) людей, для чего необходимо было каждый божий день пересекать туда и обратно Финский залив, на катере или на санях, при любой погоде. (Однажды в метель зазевавшийся

возница на ухабе случайно скинул батушку с саней и обнаружил это только по приезде в Кронштадт. Вернувшись, он встретил отца Иоанна, который в тяжелой шубе пешком шел по льду Финского залива...) Обратим внимание только на «профессиональные обязанности» отца Иоанна. Вернее, на то, как он эти обязанности понимал.

Пятьдесят три года он ежедневно, в том числе и во время путешествий, служил литургию, исповедовал и причащал невероятное количество людей, тысячи людей. Для этого он ежедневно вставал в четыре часа утра, а спать ложился не раньше двенадцати ночи, иногда позволяя себе и припоздниться, помолиться в одиночестве в саду под открытым небом, что он любил.

Его называли «утренний батушка», «пасхальный батушка» за неизменно радостное состояние духа, за удивительную подвижность в службе, что отличает именно пасхальные богослужения. Но более внимательные наблюдатели замечали, что отец Иоанн вообще жил в каком-то запредельно ускоренном темпе, как будто опасаясь не успеть, опоздать куда-то. И это вызывало сложные чувства у людей, которые видели его впервые. Скорость, с какой жил Кронштадтский, порой вызывала раздражение. Невозможно было сконцентрировать внимание на его фигуре, а его многочисленные парадные фотографии, продававшиеся по всей России, по единодушному свидетельству всех, кто знал отца Иоанна, не отражали его личности. Фотографии были постановочные, а

внешний облик отца Иоанна всё время изменялся...

Описать внешность отца Иоанна по его словесным портретам почти невозможно. За исключением глаз – ни одной выдающейся черты! Среднего роста, слабого сложения. Редкие волосы, схваченные на затылке косичкой.

Собственно – и всё.

Что касается его серых, «северных» глаз, на которые все обращали внимание, то они разным зрителям представлялись по-разному. Поклонники отца Иоанна видели небесный, лучистый, исполненный неизменного благодушия взгляд, а недоверчивые наблюдатели отмечали, что глаза отца Иоанна были «стальные», «свинцовые». Будущий секретарь Горького Николай Тихонов, в молодости встречавшийся с Кронштадтским, писал, что у него были «проницательные глаза». А сам Горький, тоже в молодости видевший отца Иоанна и даже говоривший с ним, впоследствии утверждал, что «глаза его налиты страхом».

По-видимому, взгляд отца Иоанна во многом зависел от того, на кого он смотрел и кто смотрел на него. Можно даже предположить, что этот взгляд возвращал наблюдателю его собственные представления, надежды и колебания.

И возникает удивительный парадокс. Как тихого мальчика и юношу Ваню Сергиева не смогли запомнить, а затем описать знавшие его в то время люди, так и прославленного священника отца Иоанна определенно не смогли «запортретировать» уже сотни мемуаристов, ибо все они (за редчай-

шими исключениями) имели дело с постоянно движущейся и непрерывно меняющейся «моделью». Это была уже комета, а не человек!

«Он принадлежит сам себе только тогда, когда окружен со всех сторон водой», – писал художник С.В.Животовский.

Но опять и опять возникает вопрос: как из тихого Вани мог родиться «электрический» отец Иоанн?

Человек воцерковленный воскликнет: что же тут непонятного?! Это случилось в момент рукоположения Ивана Сергиева в отца Иоанна.

Но почему это таинство не производило такого же превращения с большинством священников?

«Большинство священников, – пишет современник отца Иоанна и его биограф Николай Большаков, – ищут работы, занятий, не знают, как убить время от одной службы до другой. Иногда позовут к больному или роженице, а потом опять нечего делать. Некоторые стараются набрать побольше уроков. Но и при этом все-таки свободного времени достаточно даже для карт, приема гостей, знакомых и т. д. Другие стараются убить свободное время во всевозможных комитетах, комиссиях, собраниях. Многие из молодых пастырей становятся настоящими чиновниками, бюрократами.

У о. Иоанна сразу же не стало времени ни пообедать, ни отдохнуть, ни провести час-другой в семье».

Разумеется, среди священников были и другие яркие личности.

Однако каждый, кто сколько-нибудь представляет феномен отца Иоанна, не может не понимать исключительность его фигуры не только для своего времени, но и для всей истории русской православной церкви. В предисловии к биографии отца Иоанна митрополит Вениамин (Федченков) предостерегает от *человеческого, слишком человеческого* взгляда на Иоанна Кронштадтского, напоминая слова преп. Симеона Нового Богослова: «Лишь святой может вполне понять святого и говорить о нем». Тем не менее, пытаясь разобраться в чуде превращения Ивана в Иоанна, он пишет, что «Дух Божий не насилует природы» и в превращении этом, возможно, не было особого чуда. Во всяком случае, не было случайности.

Это было закономерное чудо.

ВОЛЯ И ПРОВИДЕНИЕ

Если одним словом обозначить разницу между условиями детства, отрочества и юности Льва Толстого и Иоанна Кронштадтского, то этим ключевым словом будет «выбор». Даже в детстве и отрочестве, не говоря уже о юности, Лев Толстой имел возможность выбирать модели своего поведения. Иван Сергиев – нет.

Единственная модель внешнего поведения, которую выбрал этот тихий мальчик и юноша в своих «школах», – послушание учителям и начальству; благодарность родителям за то, что дали ему возможность учиться; отсутствие всякого своеволия.

Но было ли это заложено в его природе? Мы даже не можем поставить этот вопрос, потому что для выбора модели своего внешнего поведения у Ивана Сергиева не было никакого выбора.

Важный момент для формирования толстовского характера: категорическое неприятие насилия над личностью, всякого стеснения ее самовыражения. Подрастая, Лёвочка Толстой бунтовал против домашних учителей, пытавшихся наказать его за неповиновение.

На подобное «самовыражение» у сына нищего сурского дьячка не было не только права, но и просто возможности и даже физических сил. Зато на всю жизнь запомнил он, что

чудом своей младенческой жизни был обязан не одним родителям, но *крещению*.

В дневнике он записывает одно из своих многочисленных определений *причастия*: «Ты младенец: сси (соси. – П.Б.) сосец Божественного Тела и Крови и, насытивши им чудно свою душу, не спрашивай: как сотворен сосец?» То есть не рассуждай! Не бунтуй!

Но к кому обращается он? Внешняя жизнь отца Иоанна, в том числе и семейная, отражена в его записях весьма скудно. Эти редчайшие автобиографические вкрапления приходится выуживать из текста, к тому же смысл их не всегда понятен. Но при этом у дневника есть одна необычная особенность: он часто пишется с обращением на *ты*. Причем с этим вторым лицом отец Иоанн обходится крайне сурово: он непрестанно бичует его и укоряет во всех смертных грехах.

Нередко возникает впечатление, что это разговор со своим вторым «я», от которого отец Иоанн мучительно пытается избавиться, отгоняя своего двойника прочь. Но иногда фокус становится необычайно резким, и не остается сомнений, что это – именно самобичевание.

«Скотина ты, мое сердце! Зверь ты, мое сердце! Змея ты, мое сердце! Сам сатана ты, мое сердце!» (1863 год).

В любом случае даже неподготовленный читатель увидит, что автор дневника был очень страстным человеком. Взрывной, пылающей натурой. Отнюдь не тихим Ваней. И странно было бы предположить, что эта пылающая натура родилась

в нем лишь после рукоположения.

Как бы ни был физически слаб этот мальчик, но модель его тихого поведения была обусловлена не только внешними причинами, но и рано осознанной и очень твердой *волей* к своему пути. Да, он не искал этот путь, не перебирал, как Толстой, его варианты. Не делал ошибок, не метался.

Его можно было бы заподозрить в карьеризме, если бы не один факт. Уже став студентом Петербургской духовной академии, что было неслыханным социальным взлетом для сына бедного дьячка, Иван Сергиев, узнав о смерти отца, хотел отказаться от учебы и вернуться в Суру на свой приход, чтобы помочь матери и младшим сестрам. Остался он в академии по настоянию матери.

ТАЙНА ЕГО МАТЕРИ

Митрополит Вениамин (Федченков) пишет: «...я имею полное основание предполагать, что та власть духа, которая была столь свойственна Кронштадтскому чудотворцу, особенно при изгнании бесов, и которая иногда могла проявляться в нем в разности темперамента, – перешла в него по прямой наследственности именно от матери. А кротость, любовь, ласка, вероятно, были, скорее, качествами отца».

Внешности отца Ивана Сергиева мы не знаем, а вот портрет матери сохранился. Даже первого взгляда достаточно, чтобы увидеть в лице этой северной женщины, в платке, завязанном по-деревенски узлом на лбу, сильный и властный характер. Отец Иоанн Кронштадтский совсем не похож на свою мать. Черты его лица, особенно в период славы, отличаются мягкостью. Лицо Феодоры Власьевны Сергиевой было твердым, каменным. Однако и сколько пришлось всего претерпеть этой женщине!

Она была дочерью сурского дьячка и вышла замуж за сурского дьячка. Девочку не обучали грамоте, и Феодора Власьевна не умела читать. Но почему-то грамоте детей по «Азбуке», купленной мужем, учила именно она. У него не было времени, здоровья?

Феодора Власьевна не знала светской грамоты, но крепко помнила молитвы и жития. Она была не просто набож-

ной женщиной, а сурово набожной. Однажды во время учебы в академии Иван тяжело заболел. Это случилось в начале Великого Поста. Врачи объявили, что если он не будет есть мясной пищи, то непременно умрет. Но больной отказывался даже от рыбы.

– Вы умрете обязательно, если не станете есть мяса.

– Хорошо... Но сначала спрошу позволения матери.

– А где ваша мать?

– В Архангельской губернии.

– Пишите как можно скорее!

Вскоре пришел ответ: «Посылаю свое благословение, но скоромной пищи вкушать Великим Постом не разрешаю ни в каком случае».

Несомненно, мать имела огромное влияние на сына. Но влияние это было сложным и не всегда ровным. Феодора Власьевна прожила сравнительно долгую жизнь. Она умерла в Кронштадте от холеры в шестьдесят три года. К сыну она приезжала трижды – в 1860, 1866 и 1871 годах, в последний проезд и заболела холерой.

Отец Иоанн нежно любил своих сурских родственников, до конца дней оказывая им материальную помощь. Но приезды матери в Кронштадт серьезно смущали его и даже вводили в соблазн недоброго чувства к ней.

Мать отца Иоанна и выглядела по-деревенски, и говорила с характерным северным выговором. Жена отца Иоанна, Елизавета Константиновна, была дочерью ключаря кафед-

рального собора. Она была прекрасно образованна и свободно говорила по-французски. С какого-то времени молодого, но уже входившего в моду священника стали приглашать в богатые и знатные дома. Но взять с собой в гости мать он едва ли посмел бы.

Дневники 60-го, 66-го и 71-го годов пестрят упоминаниями о матери. Он мучительно стыдился ее визитов в Кронштадт, но еще более мучительно стыдился своего стыда.

«Я – ничто пред матерью», – говорит он себе. Однако ее присутствие в доме среди образованных Несвицких смущает, а порой и раздражает его. Поэтому все записи о матери исполнены надрыва, нервного раздвоения личности.

«В незнатности и бедности моей маминьки – честь и слава моя, потому что в этом вижу я, как многомилостив и щедр ко мне Господь, какие великие благодеяния явил Он мне, недостойному, сделав меня и образованным, и сведущим в Тайнах Его, знатным и исполненным всяких даров Его! Слава благости и щедротам Бога моего! Хвалюсь незнатною, бедною родительницею моею».

«Она – мой царь, мой господин».

Конечно, можно сказать, что святой человек во всем находит духовную пользу. В отношениях с матерью в Кронштадте отец Иоанн закалял свою духовную личность. Да, но по-человечески-то? А по-человечески он прекрасно понимал, что между ним, кронштадтским священником, и вдовой сурского псаломщика лежит социальная пропасть.

Одним из первых искушений отца Иоанна стало то, что он начал стесняться своих родственников. Особенно тех, кто не пошел по линии священства, став обычными крестьянами. Так, в начале 60-х годов он записывает в дневнике: «Благодарю Господа, помиловавшего меня на пути в Гимназию из Гостиного Двора от купца Терентьева – где я купил сукно для племянника Андрея. Пища адрес, я остановился на слове “крестьянину” и не хотел писать, но потом одолел ложный стыд и написал, что следовало».

Несомненно, молодого Ивана Сергиева, а затем отца Иоанна терзал комплекс социальной неполноценности. Это было сильнейшее искушение, с которым он сражался, но окончательно победить смог лишь тогда, когда оказался в силе и славе. И это тоже по-своему формировало его характер, одновременно и закаляя, и делая уязвимым в его отношении к сильным мира сего, к «хозяевам жизни», к именитым людям.

Вот чего не могло быть у Льва Толстого! С ранней молодости он чувствовал в себе скорее избыток благородной крови. Он гордился своими предками, но и очень рано поставил перед собой вопрос: а что такое он *сам по себе*? Этот вопрос он задает себе и на Кавказе, в минуты горького душевного похмелья, и перед отправкой в Румынию, куда был командирован по протекции знакомого своего отца, и потом, во время духовного переворота.

Перед Иоанном Кронштадтским стояла более тонкая и

щепетильная душевная проблема. Как и Толстой, он был родовит, ибо происходил из рода потомственных жрецов, северных русских священников. Сказать, что Кронштадтский вышел из социальных низов, было бы слишком просто. Все-таки он решительно отделял себя от крестьянства, о чем свидетельствует приведенная выше запись в дневнике. Он, как и Толстой, гордился своим родовым избранничеством. Спустя многие годы, выдавая племянницу Анну Малкину за священника из Череповца Иоанна Орнатского, он писал ее матери, своей сестре Дарье Ильиничне: «Благодари Бога, что хотя дочь твоя будет за духовным лицом, имея мать свою духовного звания, ставшую крестьянкою по мужу...» В глазах отца Иоанна выход Дарьи Ильиничны замуж за крестьянина был очевидным понижением социального статуса.

Это с одной стороны.

С другой – все его предки, хотя и священники, были, как правило, темные, затравленные нуждой и начальством люди.

Его дед по отцовской линии, Михаил Никитич Сергиев, был сыном простого пономаря, обязанного петь на клиросе, звонить в колокол и помогать во время службы. Сам Михаил Никитич стал священником и даже одно время благочинным, но за пьянство был лишен сана и сослан в Веркольский монастырь.

Именно дед Михаил крестил Ваню Сергиева. А восприемником при крещении стал дядя, брат отца, Василий Михайлович Сергиев, служивший в сурском храме заштатным

пономарем. Его судьба сложилась куда трагичней. Еще в пору учения в Архангельске он лишился зрения и даже в официальных документах именовался «Василием Темным». Он отличался безупречным поведением, но, видимо, за уклонение в раскол и он был сослан на год в Веркольский монастырь. Вернувшись домой, слепец страдал от одиночества и бытовой беспомощности. Осталось его единственное письмо к племяннику в Кронштадт, которое нельзя читать без волнения.

«Ваше Высокоблагородие О. Иоанн, Любезнейший мой Племянниче с Супругою Елисаветою Константиновною

Здравствуйте!

Первым долгом желаю Вам Любезный Племянниче со Здравием много лет Священствовать Благополучно, и прошу усердно помолиться у Престола Божия о мне Грешном и Убогом. Во вторых Честь имею Вас О. Иоанн Ильичь уведомить, что письмо Ваше от 10 Сентября 1867 г. и деньги пять рублей от О. Игумена Феодосия я получил 27 Октября, за каковую Вашу Отеческую Милость Чувствительно благодарю и всегда молю Всемогущего Бога о здравии Вашем. Живу я уединенно в своем доме, сам топлю печьку, а пекут люди чужие Соседи. Раскол в приходе нашем умножается; Иван Филимонович уже совсем совратился в раскол в прошедшем году, а Михайло Киприянович пока еще Православным. Остаюсь от сего письма Слава Богу жив но здоровьем слаб. Любящий Вас и заочно целующий

десницу Вашу Дядя Ваш Грешный Богомолец убогий
Василий Сергеев.
Сурский Погост
6-е ч. Ноября
1867 года».

Таких пронзительных писем из Суры отцу Иоанну в Кронштадт шло великое множество, но сохранилась лишь незначительная их часть, опубликованная в «Кронштадтском вестнике» Т.И.Орнатской. Лишь читая эти письма, можно до конца прочувствовать колоссальную разницу между «стартовыми условиями» Льва Толстого и Иоанна Кронштадтского.

Менее чем за год до смерти, в феврале 1908 года, отец Иоанн все еще продолжал получать весточки-напоминания, как могла бы сложиться его судьба, не поступи он в академию и вернись на родину. Например, ему пишет деревенский священник Михаил Афанасьев, который был женат на его племяннице Татьяне.

«Многоуважаемый и Добрейший
Наш Дядюшка Отец Иоанн Ильич
Будьте здоровы на многая лета!

Уведомляем Вас, Дорогой Дядюшка О. Иоанн, что сегодня мы получили от Вас опять деньги (200) рублей. От всей души благодарим Вас, Дорогой Дядюшка, за Ваши милости, за Вашу доброту к нам недостойным! Двести рублей для нас капитал и капитал большой! Я, напр<имер>, получаю Священнического жалованья 107

р. в год; значит за 200 р. нужно служить почти два года; или за законоучительство в Министерском Училище в год получаю 30 (тридцать) рублей, следовательно за 200 р. нужно служить почти семь лет! Спаси же Господь и помилуй Вас, Дорогой Дядюшка, за Вашу милость! Дай Вам Бог доброго здоровья!»

Когда Иоанн Кронштадтский готовил неистовые проповеди против *боярина Льва Толстого*, восставшего на Православную Церковь и на ее священников, он, возможно, вспоминал эти письма.

СКВОЗЬ ИГОЛЬНОЕ УШКО

Для Ивана Сергиева не годилась мораль, которую любил повторять Толстой: где родился, там и содился. Не окажись Иван в академии, не стал бы он и протоиереем Андреевского собора в Кронштадте, не стал бы *Кронштадтским*.

Не стал бы самим собой.

Вообразите себе мальчика, обученного грамоте неграмотной матерью, которого отец на последние деньги отдает в духовное училище, затем в семинарию. От него ждут успехов в учебе, а он элементарно не может читать. Звуковой ряд и печатные буквы не соединяются в детском сознании – никак!

«Отец купил для меня букварь, – вспоминал он, – но туго давалась мне грамота, и много скорбел я по поводу своей неразвитости и непонятливости. Я не мог никак усвоить тождество между нашей речью и письмом или книгою, между звуком и буквою. Да это в то время и не преподавалось с такою ясностью, как теперь; нас всех учили: “Аз, Буки, Веди”, как будто “А” само по себе, “Аз” само по себе; мудрости этой понять я долго не мог, и когда меня, на десятом году, повезли в Архангельское приходское училище, я с трудом разбирал по складам и то только по печатному».

Вместе с унижением на фоне более успешных сверстников Ваня Сергиев испытывает вину перед родителями, которые лишают себя последнего куска ради него, такого бес-

помощного – и бездарного. Из этого душевного тупика для личности яркой и неординарной может быть только два выхода. Первый – взбунтоваться против судьбы (Бога). Второй – полностью довериться Богу и просить Его помощи. Иван Сергиев не выбирает для себя этот второй путь – он просто не представляет себе иного.

«...Ночью я любил вставать на молитву. Все спят – тихо. Не страшно молиться, и молился я чаще всего о том, чтобы Бог дал свет разума на утешение родителям. И вот, как сейчас помню, однажды был уже вечер, все улеглись спать. Не спалось только мне, я по-прежнему ничего не мог уразуметь из пройденного, по-прежнему плохо читал, не понимал и не запоминал ничего из рассказанного. Такая тоска на меня напала; я упал на колени и принялся горячо молиться. Не знаю, долго ли пробыл я в таком положении, но вдруг точно потрясло меня всего... У меня точно завеса спала с глаз, как будто раскрылся ум в голове, и мне ясно представился учитель того дня, его урок; я вспомнил даже, о чем и что он говорил. И легко, радостно так стало на душе. Никогда не спал я так покойно, как в ту ночь. Чуть засветлело, я вскочил с постели, схватил книги, и – о счастье! – читаю гораздо легче, понимаю всё, а то, что прочитал, не только всё понял, но хоть сейчас и рассказать могу. В классе мне сиделось уже не так, как раньше: всё понимал, всё оставалось в памяти. Дал учитель задачу по арифметике – решил, и похвалили меня даже. Словом, в короткое время я подвинулся настолько, что

перестал уже быть последним учеником. Чем дальше, тем лучше и лучше успевал я в науках и к концу курса одним из первых был переведен в семинарию».

Этот эпизод из воспоминаний отца Иоанна можно трактовать по-разному. Можно как Божье чудо. Но каждый, кто усердствовал в изучении трудного, не дающегося предмета (например, иностранного языка), знает, что подобное «вдруг» («точно завеса спала с глаз») происходит со многими самыми обычными людьми и является простым следствием накопления внутренних усилий. Но для нас важнее другое.

Иван Сергиев в своих «школах» проходил сквозь игольное ушко. Всё было ненадежно и зыбко. Не получая помощи извне (кто будет специально заниматься с мальчишкой из бедной семьи, отец которого непрестанно писал и в училище, и в семинарию просительные письма, чтобы одного из его сыновей, из двух Иванов, взяли на казенный кошт?), Сергиев мог рассчитывать только на собственную волю – и на Промысел Божий.

Именно твердая воля определила модель его тихого поведения, когда он остался одиночкой среди сверстников и по училищу, и по семинарии, и по академии. Да, он лишился друзей. Но избежал и соблазнов, неизбежных в этих случаях. Он собрал себя, а не потратил.

Что же касается Промысла Божьего... Вот один вроде бы случайный факт. Во всех биографиях написано, что в акаде-

мию он был послан потому, что закончил семинарский курс *первым учеником*. Но биографы не располагали документами, которые открыла в архангельских архивах Ю.В.Балакшина. Она пишет:

«К 1850 году в Высшем отделении семинарии произошел конфликт, прямо не касавшийся Ивана Сергиева, но повлиявший на его дальнейшую судьбу. До апреля 1850 года первым учеником отделения по всем спискам значился Александр Павлов, а Иван Сергиев обычно занимал третье место. Вероятно, именно Павлов был бы направлен для продолжения духовного образования в Петербург. Однако 2 апреля 1850 года он не явился на утреню, о чем была сделана запись в дисциплинарном журнале. В наказание за проступок архимандрит Иларион назначил ему “стоять на коленях в течение одного класса”, но Павлов отказался выполнить приказание инспектора и пошел на прямой конфликт с ним... В результате возмущенный архимандрит вышел из класса и подал докладную записку на имя ректора с предложением наказать Павлова розгами. Но Семинарским правлением было принято иное решение: “Недуг Павлова, состоящий в самомечтании и неповиновении одному из главных своих начальников и наставников, надобно лечить не скоропреходящею мерою, а посему, не наказывая его телесно, лишить ныне же первого разряда...” В следующем 1851 году Александр Павлов был снова причислен к первому разряду, но первым учеником класса он больше не стал, и почетное право учиться в Петер-

бургской духовной академии перешло к Ивану Сергиеву».

Если этот Павлов до выпускного курса числился первым учеником, значит, кроме успехов в учебе этот юноша отличался и примерным поведением, к чему в семинарии относились настолько строго, что немедленно лишали звания первого ученика за первое же неповиновение начальству. Какой же бес «самомечтания» вдруг вселился в этого Павлова? Почему он вдруг поступил вполне по-толстовски? И что с ним было потом? Во всяком случае, именно такие выпускники семинарий и пополняли ряды толстовцев.

Но вернемся к Ивану. Итак, Божий Промысел? Или все-таки сработала та самая модель тихого поведения, которая по мере накопления и выдала вроде бы неожиданный, случайный, на самом же деле абсолютно закономерный результат, так что Иван Сергиев после выпуска из семинарии поехал не в Суру, а в Петербург?

Между прочим, в мае и июне 1851 года Сергиеву предлагали поступать в Петербургскую медико-хирургическую академию, а затем в Главный Педагогический институт. Оба раза он отказался.

28 июля 1851 года Ивану Сергиеву был выдан билет за № 366, дающий ему свободный пропуск на всех заставах от Архангельска до Санкт-Петербурга. В тот же день он выехал в Петербург.

Глава третья

ПРИЗРАК СЕН-ТОМА

Никогда не забуду я одной страшной минуты, как St.-Jérôme, указывая пальцем на пол перед собою, приказывал стать на колени, а я стоял перед ним бледный от злости и говорил себе, что лучше умру на месте, чем стану перед ним на колени, и как он изо всей силы придавил меня за плечи и, повывихнув спину, заставил-таки стать на колени.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.